Рина
Зеленая
разрозненные страницы
Моя биография

Моя биография

Рина Зеленая

Разрозненные страницы

«АСТ»
2016

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Зеленая Р. В.

Разрозненные страницы / Р. В. Зеленая — «АСТ», 2016 — (Моя биография)

Рина Васильевна Зеленая (1901–1991) хорошо известна своими ролями в фильмах «Весна», «Девушка без адреса», «Дайте жалобную книгу», «Приключения Буратино», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и многих других. Актриса была настоящей королевой эпизода – зрителям сразу запоминались и ее героиня, и ее реплики. Своим остроумием она могла соперничать разве что с Фаиной Раневской. Рина Зеленая любила жизнь, любила людей и старалась дарить им только радость. Поэтому и книга ее воспоминаний искрится юмором и добротой, а рассказ о собственном творческом пути, о знаменитых артистах и писателях, с которыми свела судьба, – Ростиславе Плятте, Любови Орловой, Зиновии Гердте, Леониде Утесове, Майе Плисецкой, Агнии Барто, Борисе Заходере, Корнее Чуковском – ведется весело, легко и непринужденно.

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Зеленая Р. В., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

О Рине Зеленой 6
Вокзал 8
Дедушка 11
Бильярд 13
Семья 15
Крыша 19
Библиотека 20
Гимназия 21
Театральная школа 22
Театр «Крот» 24
Фамилия 28
«Нерыдай» 29
Конгресс 35
«Балаганчик» 36
Театр сатиры 43
Неинтересный рассказ 48
Дом печати 50
«Баня» 52
За большим столом 54
О юморе 56
Дети 58
Сергей Михалков 63
Николай Островский 65
Давай подробности! 66
Актеры 68
Конец ознакомительного фрагмента. 69

Рина Зеленая
Разрозненные страницы

© Р. Зеленая (наследники), 2016
© В. Ливанов, предисловие, 2016
© Киноконцерн «Мосфильм» (кадры из фильмов)
© РИА Новости
© ООО «Издательст во АСТ», 2016

В работе над книгой принимала участие *Злата Старовойтова*
Предисловие *Василия Ливанова*

В книге использованы фотографии из архивов Юрия Хмелецкого, РИА Новости, Киноконцерна «Мосфильм» и фондов Российского государственного архива литературы и искусства

* * *

Унывна осени пора,
Но день сегодняшний прекрасен:
На небе волны серебра,
И солнца диск блестящ и ясен.

Н. Гоголь

Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью.

Е. Баратынский

О Рине Зеленой

Раздается телефонный звонок, и я слышу знакомый, такой любимый с детства голос: «Извините, что я вас застала».

Этой придуманной ею фразой Рина Васильевна Зеленая обязательно начинала любой телефонный разговор.

Окружающих порой удивляло, когда некоторые молодые люди называли ее не по имени-отчеству, а запросто – Рина. Но такое обращение к ней Рина установила сама. Люди, которые познакомились с Риной Васильевной еще в своем детском возрасте, должны были называть ее просто Рина, но на «вы». На «ты» ее звал только Никита Михалков, которого Рина Васильевна знала буквально с его рождения. Зачем она изобрела такую классификацию для обращения к ней – мне неизвестно. Я был подростком, когда моя мама представила меня Рине Зеленой: «Это Вася, ему десять лет». – «Десять лет! – воскликнула Рина. – Женя, дорогая, вы не успеете оглянуться, а у него уже вырастут усы».

В течение многих лет при каждой новой встрече Рина спрашивала меня: «А где усы? Я же обещала твоей маме, что у тебя моментально вырастут усы!»

Я давно ношу усы, и может быть подсознательно, благодаря Рининым настояниям.

Она любила изобретать всякие неожиданные фразочки «по случаю». Многие из них быстро утрачивали авторство, становились, как говорила Рина, «местами общего пользования».

На киносъемках часто можно услышать: «Кого ждем – сами себя задерживаем!»

Говорящие это даже не подозревают, что повторяют Рину Зеленую.

Эти веселые фразочки Рина вносила в тексты своих ролей: «У меня от вас каждую минуту разрыв сердца делается» или «Такие губы сейчас не носят» и тому подобные.

Еще Рина сочиняла уморительно смешные стихи. Так, для себя. Помню последние строчки стихотворения о кузнечике, которое она как-то продекламировала:

Зелененький кузнечик,
Кузнечик молодой,
Скачи скорей, кузнечик,
Скачи к себе домой!

В саду летают птички,
Все на тебя глядят.
И ведь никто не знает,
Когда его съедят.

Ее реакция на происходящее всегда была неожиданна, юмор – неподражаем.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» снимались на киностудии «Ленфильм». Актеры-москвичи жили в гостинице. Как-то Рина позвонила из своего номера, чтобы узнать, какая сцена намечена к завтрашнему дню. Я ответил, что не знаю, мне никто не говорил. «В этой группе, – сказала Рина, – ничего никому никогда не говорят. Пора брать “языка”».

В ней жила огромной силы вера, что, несмотря ни на какие превратности жизни, все равно «все будет хорошо». И саму себя она представляла непременным участником этого «все хорошо».

Однажды, после запоздниившейся съемки, мы с Риной спешили на вокзал к московскому поезду. Маленький студийный автобус мчался по пустому в этот час Невскому про-

спекту, прихваченному мартовским ледком. Я сидел спиной к водителю. Рина устроилась в самом конце салона, напротив прохода. Вдруг из переулка вылетело такси и ударило наш автобус в бок. Удар был такой силы, что Рину выбросило из сиденья, она пролетела через весь автобус и рухнула ко мне на колени, обхватив мою голову руками. И что она в этот момент выговорила? «Спокуха – я с вами!»

Книгу своих воспоминаний Рина Васильевна Зеленая назвала «Разрозненные страницы». На этих самых страницах автор воссоздала наиболее важные и дорогие ей эпизоды ее большой, насыщенной событиями жизни. Какое разнообразие лиц – и каких лиц! Какое богатство впечатлений! Но главное в этой книге, конечно, сама Рина Зеленая. Эти, как бы разрозненные, страницы объединяет цельность ее уникальной, талантливейшей личности, ее неподдельная доброта и прозорливое внимание к людям, к окружающему, быстро меняющемуся миру.

Мы как бы заново знакомимся с такой, казалось бы, знакомой и любимой нами Риной Зеленой. Еще одна, последняя незабываемая встреча!

Первое издание своей книги «Разрозненные страницы» автор надписала мне так: «Всё в порядке, мистер Шерлок Холмс? Рина Зеленая. XX век».

Всё в порядке, милая Рина. Всё будет хорошо. Только без вас временами так грустно!

Василий Ливанов, народный артист России

Вокзал

Вот я, например, терпеть не могу воспоминаний. Дневники – это правильно, это удивительно важный, мне кажется, литературный документ. И письма тоже. Михаил Кольцов мне как-то объяснял, что каждый человек должен по возможности записывать что-то о себе и о том, что кругом происходит. Даже если записывать, сказал он, ежедневно только погоду, эти записи – клад для тех, кто будет жить гораздо позднее. Правда, он ведь не знал, что спутники будут делать это лучше, чем люди.

Но воспоминания – это очень условно. Про то же самое один помнит одно, другой – совершенно другое.

Даже школьные годы не люблю вспоминать, когда пожилая тетка, совсем чужая, неузнаваемая, набрасывается на тебя, целует и в восторге начинает: «А помнишь?! Ты помнишь?!» А я ничего не помню.

А если иногда сам захочешь вспомнить что-то прекрасное, далекое, важное, вдруг неизвестно откуда наплывает совсем иное, страшное, о чем не хочешь ни думать, ни вспоминать.

Просыпаюсь как от толчка. Открываю глаза. Нет, я не сплю, я просто закрыла глаза, чтобы не видеть огромных окон этого страшного вокзала. Мы стоим или едем? Нет, мы уже не в поезде, а внутри вокзала. Как мы сюда попали – мама, сестра и я? Мы долго ехали из Москвы в набитом людьми вагоне. Поезд то шел, то останавливался. Но вот он остановился совсем; рано, на рассвете. Лютый мороз снаружи. Холодно в вагоне.

Потом пришли какие-то люди и сказали, чтобы все выходили немедленно, что поезд дальше никуда не пойдет. Все начали бегать в разные стороны, чтобы узнать, что же с нами теперь будет дальше. Даже наша мама, всегда решительная в своем легкомыслии, вдруг испугалась, притихла и со страхом смотрит на нас. А за окошком бегают люди и кричат что-то друг другу. Пар изо рта у них выходит клубами, каждое слово – как облако. Какой мороз!

На станции можно было уже ничего не узнавать. Те, кто приехал сюда раньше нас на день или на неделю, сидели в вокзале группами, подальше от огромных, постоянно открытых дверей, или лежали на полу в сыпняке. И никто ничего не знал. Какие-то люди уползали в город – то ли найдут спасение, то ли нет. И пронизывающий, леденящий холод. Как было тепло в холодном вагоне!

Всего ужаса нашего положения я еще не понимала. Мне не приходилось раньше отвечать за семью. Хотя мы с сестрой были уже взрослые девочки, но домашние, папины и мамины, всегда зависели от родителей во всем и даже слушались иногда. Я только сумела понять и решить, что надо сидеть у самой двери, куда сильный ветер даже заносил снег, чтобы быть подальше ото всех. Все равно лютый холод: что снаружи, что внутри – минус двадцать пять градусов. У двери никто не сядет рядом. Страшно заболеть сыпняком здесь.

Мама, маленькая, скорчившись, покорно дрожит под платком без всяких жалоб. И не потому, что она поняла, что нельзя было схватить из дома в Москве двух девочек и везти их к отцу «куда-то на юг».

В Москве мама получила от отца старое письмо, которое, видно, где-то долго блуждало, валялось два-три месяца невесть где. Отец обстоятельно писал из командировки, что его отправляют дальше, на юг, восстанавливать вещевые склады после разгрома белых, и звал нас к себе. Хотя определенного адреса у него пока нет, но он напишет позднее. Мама решила, что самое время ехать к отцу. Затолкав в чемоданы что попало, кроме теплых вещей (ведь мы едем на юг!), она велела мне добывать у начальства отца полагающиеся для проезда документы. Я храбро взялась за это, получила все нужные бумаги, неведомые мне дотоле «литеры» и направление семье к месту работы отца. Денег мне почему-то не дали. Но маму

это не смутило ничуть: «Как-нибудь доберемся». И вот мы сидим. Мы уже не мерзнем, мы замерзаем. Я с ужасом смотрю на посиневшее лицо сестры, хватаю ее маленькие леденеющие руки, растираю в своих замерзших ладонях.

Темнеет в вокзале. Гулкие звуки шагов теряются в высоких темных сводах. Где-то промелькнет фонарик, и станет еще темнее.

Опять пришли люди с носилками. Уносят кого-то, кто замерз, или того, кто кричит в жару сыпного тифа. Гулкие шаги. Очень страшно. Расталкиваю маму – спать нельзя: замерзнешь – унесут на носилках. Мне надо встать во что бы то ни стало. Нет, не встану: ноги в старых холодных ботинках (кто-то дал их мне еще в вагоне) будто примерзли к каменному полу, страшно больно.

Прежде чем я что-то услышала, осветился кусок стены. Потом откуда-то голоса. Громкие, решительные. Шаги. И свет приближается, яркий еще издали. Какие-то люди в военной форме проходят по другой стороне громадного зала. Проходят. Сейчас уйдут навсегда. Встать во что бы то ни стало. Сейчас, пока можно догнать… Вскакиваю на стеклянных ногах, бегу, догоняю. Безнадежно кричу:

– Послушайте!.. Остановитесь!

Люди замедляют шаги, освещают меня фонарем. И вдруг один из них пристально смотрит на меня. Он из Москвы и как-то видел меня в гостях у своих родных. И почему-то случайно запомнил.

– Что вы тут делаете, девочка?

Заикаясь, рассказываю. И вдруг чудо, как в кино: нас подбирают, ведут по бесконечным, обледенелым, заснеженным путям огромной территории харьковского вокзала. И почему-то мы спасены.

Тиф меня настиг позднее…

Вообще, дорогой читатель, я лично тебе эту книгу читать не советую. (Это, конечно, шутка. На самом деле я только и мечтаю, чтобы ты прочел все страницы до конца.) Вины моей нет, что я писала эту книжку. Поверишь ли, я сопротивлялась много лет, как могла, и никогда не думала, что сдамся. Но просили мои зрители, те, кто видел меня в фильмах или концертах, они были так добры ко мне, смею сказать, что они любили меня, прямо как будто я им родственница. Происходило это, может быть, потому, что всю жизнь я рассказывала им о детях.

Когда мои выступления стали передавать по радио, в редакции приходило много писем от взрослых. Дети не выступали тогда по радио. Вообще они не были в такой моде, как сейчас, когда они выступают как чтецы-исполнители, докладчики, комментаторы, дикторы, поздравители, разъяснители. Все удивлялись, услышав голос маленького ребенка по радио. Учительница, жившая в одном из отдаленных уголков страны, взволнованно писала: «Я включила приемник с опозданием и не слышала имени малыша, который так чудесно читал стихи. Это было необычайно. Я прошу вас немедленно написать, в чьих руках находится воспитание этого талантливого ребенка».

Мир ребенка был темой всей моей жизни. Дети присылали мне письма, рисунки, разговаривали со мной, а я потом рассказывала о них взрослым. Это всегда воспринималось зрителями с волнением и глубоким пониманием. И, встречая на улице людей, улыбающихся мне как-то особенно ласково, я понимала, что это их любовь к детям частично переносится на меня и что луч этой любви озаряет мою работу.

Поэтому зрители, мамы и дедушки, писали и писали в редакции и просили что-нибудь рассказать обо мне – откуда я взялась и зачем. И тут уж редакциям пришлось присылать ко мне корреспондентов и строго требовать от меня всех этих сообщений.

Есть вещи, которых человек иногда преодолеть не может. Я, например, не умею давать интервью. Да к тому же журналисты приходят с ящиком и микрофоном и суют его тебе под

нос. Нет, это я написала грубо. По-правдашнему – это их работа. Они, бедные, ведь должны узнавать о людях, спрашивать, записывать, а потом рассказывать всем то, что они узнали. А я, как увижу микрофон, начинаю заикаться и говорю не то, что хочу. И когда смотрю по телевидению, как другие люди отвечают на вопросы, думаю, что они тоже мучаются. Ну зачем спрашивать Майю Плисецкую, что именно она выбрала бы, какую профессию, если бы не была балериной! А для чего ей об этом думать, если она уже Плисецкая? Или спрашивают В. Коккинаки, кем бы он хотел быть, если бы не летал. А он – летчик-испытатель, который «учит» самолеты летать. Он испытывал все до одного самолеты Ильюшина. Их, братьев Коккинаки, было пять, и все – летчики.

Я так и не смогла ни разу заставить себя рассказывать. Да и какой смысл? Будешь долго и подробно объяснять кому-то о себе, а потом, когда напишут, все равно придется читать что-то не то и не так о тебе написанное и исправлять. Уж лучше писать самой, хотя нет у меня прекрасных записей, как у умных людей, о встречах, о впечатлениях, о природе, и только придется оправдываться, что страницы разрозненные, какие-то из них забыты, какие-то потеряны – может быть, еще найдутся. А писать нужно, и вот теперь каждый день приходится, как говорил В. Шкловский, «скрести перышком». А еще больше мне сегодня подойдут строчки Бориса Заходера:

Пиши, хоть царапай,
Как курица лапой,
Но все же царапай,
Царапай, царапай.

Дедушка

Много раз мне приходилось слышать такое мнение: самое трудное – это начать книгу воспоминаний. Самое трудное – начать. А потом все приходит само собой. Нет, я с этим не согласна. Как раз начать книгу очень просто. Можно, например, так: жила-была девочка… Правда, это, кажется, уже было, но это неважно, тем более что девочка действительно была и жила.

Жила в маленьком одноэтажном Ташкенте. Сейчас это трудно себе представить. Утопающий в садах, розах, звенящий арыками городок, с улицами, когда-то распланированными, видно, прекрасными архитекторами. Улицы прямые, широкие, хоть и с немощеными пыльными мостовыми, но с кирпичными тротуарами. А в старом городе, где живут узбеки, грязь непролазная, по щиколотку, или глубокая пыль, тонкая и легкая, как пух. Маленький ишак идет как в облаке между дувалами. А большая арба плывет как корабль по волнам: то вверх, то в глубокую яму. Узбек сидит высоко на арбе, красивый, с большим цветком за ухом, и поет от всей души обо всем, что видит кругом.

В городе все улицы засажены акациями или тополями, а на углах – карагачи с огромными кронами, дающими летом густую, непроницаемую тень в любую жару. Время от времени через город проходит караван верблюдов, часто с сидящими между горбами женщинами в паранджах и маленькими детьми – девочками в бесчисленных косичках или мальчиком с перышком в чубчике.

Вот тут и жила девочка. И можно рассказывать, как она жила-была, вспоминать про семью, про детские годы.

…В те времена никто никуда не переезжал: где люди рождались, там и умирали. И вдруг удивительное, невероятное дело: отца девочки переводят по службе из города Ташкента в город Москву.

Даже и не вспомнить теперь, что увезла девочка с собой, какие вещи из своего детства, в далекую Москву. Наверное, Чарскую с золотыми буквами на переплете и надписью: «В награду за отличные успехи».

Ездили тогда в поездах долго. Девочка сидела, опершись на руку, задумчиво смотрела в окно, тусклое, закрытое двумя рамами. Как будут жить они в Москве? Интересно, какие в Москве арыки, какие верблюды? И еще думала, что теперь уж долго не увидит дедушку. Он ее очень любил, и поездка к нему на праздники всегда была событием.

Ехали на извозчике – это первое удовольствие. Назывался дом «дача», потому что был громадный сад и ехать надо было по переулку, заросшему зеленью настолько, что ветви деревьев смыкались над головой извозчика. Приехали, вылезаем. Дом – обыкновенный, городской. Выходит дедушка, похожий, всегда казалось мне, на Тургенева из хрестоматии, очень ласковый со мной.

Внутри дома бабушка – не родная, дедушкина жена, высокая дама с прической. Еще в передней пахнет невыносимо вкусно. В столовой – праздничный стол. На белоснежной накрахмаленной скатерти – традиционный окорок, целиком запеченный дома, с золотой кожей, отвернутой, как крышка от коробки сардин, и приколотой особой большой острой вилкой; фаршированные куры и индейки; торты, мазуреки и пироги, готовившиеся каждой хозяйкой по-своему или по рецептам бабушек. У нас дома особым умением готовить подобные угощения отличалась мама, получавшая наивысшие похвалы от всех визитеров («Нет! Никто не умеет готовить это так, как Надежда Федоровна!»).

Немного погодя я уже сижу около дедушки на маленькой скамейке. Он гладит меня по голове, а я беру его руку и разглядываю. Рука белая, с голубыми выпуклыми жилками, мне

они казались похожими на реки в географическом атласе старшего брата, и это было очень красиво. Мне хотелось, чтобы у меня тоже были такие руки.

Еще тогда, в Ташкенте, читая все подряд, я нашла какой-то юмористический журнал и там увидела список общественных деятелей города (видно, это была сатира на них). И вдруг среди других я нахожу своего деда. Там было написано так: «Иван Кузьмич Зеленый – гласный в думе. Если бы не его цветная фамилия, был бы совсем бесцветным». Я была в восторге и долго гордилась дедушкой.

Бильярд

Это я рассказала, к примеру, как можно начать книгу. А можно и совершенно иначе.

…Двадцать шестой год. Я иду по набережной Ялты рядом с Владимиром Владимировичем Маяковским. Только мы не гуляем, как все, а идем по делу – в бильярдную. Странно, что он позвал меня: у него всегда огромный выбор первоклассных партнеров. Но ослушаться его я не могу, он и так чем-то расстроен.

Мне трудно объяснить, как я тогда относилась к Маяковскому Я видела его редко – на литературных вечерах или в Доме Герцена. При этом он всегда как-то по-доброму разговаривал со мной, а я, не знаю почему, не могла держаться с ним просто, как со всеми. Какая-то тревога всегда овладевала мной. Я старалась произносить что-нибудь «умное» и от этого казалась себе еще глупей. В Ялте я встречала В. Маяковского чаще. На этот раз я шла по набережной совсем в другую сторону, когда встретила его. Он сказал:

– Пошли в бильярдную!

Я повернулась и пошла.

Он шагает большими шагами. А я, воображая, что иду с ним в ногу, семеню, просто бегу, стараясь не отставать. Я хоть понимаю, кто идет рядом со мной, знаю, что это гений, но еще не восхищаюсь его стихами – я стала понимать их и любить позднее.

Здесь, в Крыму, Маяковский выступал на открытых сценах курзалов. Его слушали все, кто был в это время на крымских курортах. Мы, актеры, приглашенные для работы на ЮБК (Южный берег Крыма), работали повсюду. Нас навалом грузили в полуторки – пианистов и певцов, чтецов и балерин – и возили по всему побережью (Алупка, Симеиз, Алушта, Гурзуф). Но каждый старался попасть на вечер Маяковского.

И мне выпадало несколько раз счастье слушать его, слышать музыку неповторимого низкого голоса, видеть его удивительную манеру держаться, его спокойные, полные достоинства движения.

Обо всем об этом теперь написано сто тысяч слов. Я вспоминаю только мои ощущения того времени. Например, мне казалось, что спокойствие, которым дышало все его выступление, спокойствие и храбрость были как бы начинены изнутри тревогой, страхом, неуверенностью, как у дрессировщика в клетке с тиграми. Среди людей, купивших билеты на вечер, были и шакалы, и барышни, и хулиганы (хулиганство на литературных вечерах тогда считалось модным, как наличие собственного мнения о какой-нибудь литературной школе; «тявкали» даже отдельные барышни).

Актеры из Москвы, Ленинграда, Киева давали концерты в курзалах, и нам бывало страшно: ведь все внове, под открытым небом. Например, впервые появилось художественное чтение. Придумали тогда артисты – Яхонтов и другие – читать со сцены литературные фрагменты (Лескова, Чехова, Сейфуллину, Бабеля). Драматические актеры на вопрос, кто сейчас на сцене, насмешливо отвечали:

– Кто-то читает вслух.

Сейчас мастера художественного слова также необходимы людям и читают любимые наши страницы и по радио, и на сцене, и по телевидению, иногда целиком произведения Шолохова, Толстого, Айтматова.

Тогда еще не было ни микрофонов, ни вопящих девиц, ни электрогитар, ни фонограмм, ни Пахмутовой с Добронравовым. Было только право добиваться победы над зрителем, заставляя его чувствовать себя укрощенным и обогащенным. Все мы приезжали на гастроли без всяких гарантий: какие будут сборы, какая погода – ничего неизвестно. Нам давали жилье – какую-нибудь бывшую виллу, – и все мы, как перелетные птицы на сломан-

ном грозой дереве, размещались, устраивались, умывались в море, ели по талонам в столовке, все почти одинаковые босяки, что Яхонтов, что Блантер. И ни одного лауреата.

…Итак, мы с Владимиром Владимировичем входим в бильярдную. Там почти всегда одни и те же лица: курортники, актеры, кто-нибудь из писателей. Как всегда, накурено. Им что море, что погода – все равно. Они ждут очереди: столов мало. Кии – хотя есть хорошие – надо тоже ждать.

Появление Маяковского всегда событие. Играет он виртуозно. Его условия жестоки – заставляет по уговору лезть под стол проигравшего беспощадно, хоть ты лысый, хоть плачь: раз уговорились – пролезай под бильярдом во всю длину.

Сейчас в бильярдной человек шесть-восемь. Маяковскому сразу освобождают стол. С кем он хочет играть? Он заявляет:

– Я играю с Риной. Условия такие: играем американку. Она должна положить два шара, я – тринадцать. Если выигрываю я, все присутствующие ставят мне по бутылке вина. Если Рина – я всем по бутылке.

Положение у меня неприятное. Не потому, что условия игры вполне унизительные. Играю я, конечно, плохо, но все-таки довольно хорошо. Американка – это не пирамида. Американка – игра особая: если ты кладешь от шара «своего» – это считается шар. И если в лузу падает «дурак» – это тоже шар. Как же я могу проиграть? Фактически не могу. Если только Владимир Владимирович положит все тринадцать шаров подряд с одного кия.

Я разбиваю пирамиду от души, так, что шары разлетаются по всему столу. Маяковский, прищурив один глаз от дымящейся в углу рта папиросы, внимательно оглядывает другим глазом расположение шаров. У него свои расчеты. Он играет левой рукой. В это же время каким-то особенно элегантным движением он мелит мелком кончик кия. Маяковский начинает. Шары летят безошибочно. Подряд три в правый угол, два мягко, накатом, – в середину, от двух бортов – в угол, «свой» сам падает в середину, через весь бильярд – в левый дальний, еще одного «своего» ввинчивает в середину. Ему нельзя сделать ни одной ошибки. Но он ее делает. Все ахают. Я тоже не ожидала этого. Теперь дело за мной.

Я важно мелю кий, нечаянно кладу «своего» в середину и последний с треском на клопштоссе всаживаю в угол. Всё! Я, к сожалению, выиграла. Мне аплодируют, а я боюсь посмотреть на Владимира Владимировича. Потом оглядываюсь и вижу, что он улыбается. Он доволен. Плохое настроение как рукой сняло.

Семья

В нашей семье никто ни с кем не дружил. Были как бы составные части, которые, сложенные вместе, назывались семья. Мама и отец – совсем не подходящие друг другу люди. Аккуратный во всем, педантичный в мелочах незначительный интендантский чиновник-служака (было такое слово) берег каждую копейку более чем скромного жалованья. По воскресеньям отец сам ходил с тетей Пашей на базар, стараясь купить все как можно дешевле. А так как по-узбекски он говорил как узбек, торговцы смотрели на него восхищенно и сразу уступали цену.

Мама, очень молодая (ее выдали замуж шестнадцати лет), так и не привыкла к нему, старшему, в очках, несимпатичному, с усами и бородкой. Ее легкомыслие даже в те годы, когда это качество было присуще всем дамам, особенно молодым, было удивительным и поражало даже ее близких подруг. Не было в доме такой вещи, которую мама не могла бы отдать кому угодно. Это была вроде доброта, но удивительно бессмысленная. Нас, детей, она устраивала «на все сто», как говорят сейчас. Старший брат и сестра могли выпросить у нее деньги, данные отцом на хозяйство, чтобы купить себе холст и краски (они писали маслом, это было довольно дорогое удовольствие).

Вообще же все было «как у людей», как у их знакомых. Был даже инструмент – старшая сестра училась играть. Так было принято, чтобы девочки умели бренчать на пианино. Приходила учительница. Но сестра могла сбежать куда угодно, а чтобы урок не пропадал, заставляли учиться меня, поймав за шиворот где-нибудь на дереве. С тех пор я не могу привыкнуть любить музыку.

И так всё. Мама нанимала немку, но, когда та входила в дверь, брат вылезал в окно и исчезал. А денег было мало, и потом, зимой, мы с младшей сестрой оказывались без пальтишек, которые мама уже успела продать старьевщику.

Но когда во двор приходил продавец пирожных (они лежали в стеклянной витринке, подвешенной на ремне через плечо; продавец ставил ее на деревянную подставку, и все маленькие дети во дворе окружали его и смотрели не отрываясь на розовые, голубые воздушные кремы этих соблазнительных недоступных изделий), выходила наша мама и говорила:

– Ну, все возьмите по одному пирожному.

Продавец открывал стеклянную крышку, и мы долго выбирали и долго потом ели легкие кремы, протыкая их пальцем и облизывая руки, пока не исчезало все, оставляя лишь воспоминания о чем-то прекрасном. Мама расплачивалась с разносчиком, а потом наступала минута другой расплаты – отчет перед отцом в конце месяца, когда выяснялось, что у кого-то взяты деньги в долг, надо отдавать, что она уже продала материю, из которой он должен был сшить себе новую форму на будущий год, ну и так далее. Все это кончалось скандалом. Отец начинал кричать на нее вечером, и все это слышали – у всех открыты все окна во двор. Уже поздно, все спят, а он все кричит и кричит, то чуть потише («Я прошу тебя, не ори так громко», – умоляет мама), а потом еще громче, шагая от кровати до двери и обратно.

Соседи к этому привыкли. Это бывало раз в месяц или чуть реже.

Старшая сестра, барышня лет шестнадцати, далека от нас, как луна. У нее подруги, кавалеры, прическа, зеркало-трельяж – трехстворчатое на туалете; оно небольшое, но в него сестра может увидеть себя со всех сторон: и в профиль, и анфас. Смотреться нам в него нельзя и флаконы на туалете тоже нельзя трогать. Именно поэтому я часто смотрю на себя в зеркало с трех сторон, показываю себе язык и вижу его в профиль.

Сестра с братом не дружат, но о чем-то разговаривают. Оба рисуют, разное: она срисовывает открытки, где цветы и фрукты с каплями на них, брат – бурные моря с пеной и

погибающими кораблями. Брат Иван – личность для нас непостижимая, загадочная, недосягаемая, с его товарищами, уходами в ночь на рыбалку, откуда он возвращается утром, увешанный змеями, пугая тетю Пашу и всех ребят во дворе. У него свое убежище на балхане. Это сооружение на столбах, над сараем, вроде чердака. Влезать по деревянной, грубо сколоченной лестнице высоко. Туда, например, он сложит своих змей, которые потом все равно уползут в арыки. На нас, младших, он не обращает никакого внимания, как на котят.

Мама брата не ругает или скажет: «Вот придет отец – тогда узнаешь». Но вообще лозунг в доме, правило: «Не говорите отцу».

Когда папа, усталый, возвращается со службы, все должно быть уже мирно и улажено. Иначе – придется пороть ремнем Ивана. Это бывает редко, но неизбежно, касается только брата, но нависает, как грозовая туча, над всеми. Затем громкие крики, но не Вани, которого порют, а отца, который кричит на него, перечисляя все вины и проступки. Мы прислушиваемся, ожидая, когда это кончится и наступит прежнее относительное равновесие. Отец кричит громко, можно расслышать:

– Теперь тебя выгонят из реального училища! Кем ты собираешься быть?

Иван отвечает отчетливо, но непонятно для меня:

– Я думаю быть или шофером, или епископом.

Отец, видно, теряется от такой точной программы, выходит, хлопнув дверью и сказав сквозь зубы:

– Болван!

Мама с облегчением говорит:

– Ну, всё!

И уже тетя Паша несет самовар, и большой стол накрыт к вечернему чаю. Все сидят и мирно беседуют.

А так у нас всё «как у людей». Даже есть гостиная. Там стоит мебель, которая тогда казалась мне чудом красоты. Это был гарнитур, красный, плюшевый, очевидно, базарной работы, с резными черными спинками в завитушках «рококо» и с тонкими выгнутыми ножками на колесиках. Диван такой же, и кресла, и столик. Все хлипкое. Брат с товарищами особенно любят бороться именно там. Все ножки отлетают в разные стороны («Только не говорите отцу!» – вонючий столярный клей на плиту, и всё в порядке до следующего раза).

А на черной тумбочке – граммофон с огромной трубой, как сейчас в кино. Пластинки разбитые брат складывает под диван. Выбрасывает их тетя Паша. Я завожу еще пока не разбитые, на которых поет Вяльцева, рассказывают анекдоты, совсем не детские, Бим-Бом. Или, шлепая босыми ногами по желтому свежевымытому крашеному деревянному полу, пою во весь голос все, что хочу: «Гай да тройка», «Ветерочек», «Если женщина захочет, то поставит на своем».

Было во всем доме одно кроткое, доброе существо, готовое помочь каждому. Это была хрупкая белокурая девочка, моя младшая сестра. Она всем и во всем всегда уступала, даже не споря. Если что-то в доме у кого-то терялось, будь это учебник (она еще не училась, ей было шесть-семь лет), шахматная фигура (брата Ивана), или мамины ножницы, или нужная квитанция, звали ее:

– Зинаи-и-да! – и она мгновенно находила все, что просили.

Мы с ней, конечно, были пока заодно. Но я, как старшая и нахалка, помыкала ею особенно часто: иди, принеси, отдай. Если она сопротивлялась, я говорила:

– Считаю до трех! – и медленно начинала: – Ра-аз, два-а… – Она не двигалась. Тогда я начинала тянуть по буквам: – И т…р… – Больше она не выдерживала, срывалась с места и опрометью бежала выполнять требуемое.

Сестра не плакала, когда тетя Паша заплетала ей косы. Длинные русые волосы путались, но она терпела.

У нас не было детской. Старшая сестра помещалась отдельно. Брат спал в столовой. А мы с младшей сестрой – в комнате родителей. Когда мы ложились спать, а взрослые еще шумели в столовой, я говорила ей:

– Пойди закрой дверь!

Она возражала:

– Ведь тебе ближе! Закрой сама!

Я вставала и шла от своей кровати к двери, меряя шагами расстояние. Потом считала шаги от двери до ее кровати. Потом ложилась и говорила:

– От тебя на два шага ближе. Закрывай дверь! – И она закрывала.

Эта кротость потом приносила сестре много горя и не раз ставила ее в трудное, безысходное положение. Так, например, она ушла из Театра сатиры, не получая долгое время ролей, которые могла и должна была играть. Ушла не споря, не требуя, просто ушла. И перестала быть актрисой.

Предсказания отца насчет брата Ивана сбылись довольно быстро: он вылетел из реального училища. Последней каплей, переполнившей чашу терпения педагогического совета, был его ответ священнику. Батюшка спросил Ивана после Великого поста:

– А вы говели, Зеленый, причащались?

– Да, батюшка, – как-то легковесно ответил брат.

– В какой церкви? Где? – строго спросил законоучитель.

Иван несколько раз ткнул за спину, через плечо, большим пальцем и небрежно сказал:

– Там!

Когда Ивана исключили, у него остался единственный способ получить среднее образование – закончить кадетский корпус. Отец повез Ивана в Оренбург, и его приняли в корпус, который он всегда ненавидел (реалисты и гимназисты вечно дрались с кадетами на улице: «Кадет, кадет, на палочку надет»).

Теперь, когда брат уехал, я стала спать в столовой. Каждый день, просыпаясь, я видела, словно кадры в кино, как отец делал гимнастику «по Мюллеру» (тогда это входило в моду, и он делал «как все»). Со своей обычной педантичностью он ровно три минуты выполнял упражнения и, продолжая последний взмах правой рукой, подносил ее ко лбу, поворачивался в угол, к образу, и так же добросовестно начинал креститься, читая утреннюю молитву.

А вот что было не «как у людей». Прихожу я, приготовишка, из гимназии домой. Никого нет, можно не переодеваться (а то форму нужно беречь!). Наша Паша на кухне и плачет. Я думаю: наверно, письмо получила от своего «негодяя». (Я ей вечером пишу иногда письма. Она диктует: «Здравствуй, милый Вася. Как ты поживаешь? Ах ты, подлец эдакий, мерзавец, негодяй…» Я старательно вывожу свои каракули и не удивляюсь. В кухонном столе был выдвижной ящик, в нем лежали гвоздики, сломанный нож, облезлая вилка, конфеты в замусоленных бумажках. Паша давала мне одну, и она казалась мне вкуснее маминых.)

На этот раз Паша увидела меня, обняла и, вытирая глаза, запричитала:

– Ах ты, сиротиночка моя!..

Новое дело! Сиротиночка! Папа, мама живы-здоровы… Оказалось, мамы нет дома и долго не будет. Она уехала в Петербург. Паша что-то мне толковала, что «он ее довел», видно, имея в виду отца. Он опять долго кричал на нее, что денег не хватает, что долги, что детям нужны калоши, что сестра Мария купила какую-то шляпку и так далее. Надежда Федоровна, видя, что ей не выкрутиться и не оправдаться, заняла еще сколько-то рублей у соседей, купила билет, написала отцу письмо, села в поезд и махнула в Питер.

Это уж, конечно, событие, уж это не «как у людей». А папа еще ничего не ведает – он на службе. Вот придет, узнает и будет плакать.

Отец становится к нам с сестрой очень добрым, смотрит виновато, мажет нам горло глицерином с йодом, когда мы болеем, не ругает Ивана и пишет маме письма: просит, чтобы она вернулась, обещает, что все будет хорошо, что больше это не повторится. А мама все не едет. (Потом я собиралась узнать, куда и к кому она ездила, где жила, да так и не собралась.)

А происходило, я думаю, так. У мамы была подруга, белокурая, веселая дама с пышно взбитой прической. Она всегда громко смеялась, шутила с нами.

Мне казалось – необыкновенно смешно, что она вместо «л» говорила «р»: «Ареша, перестань, я Вороде скажу». Когда она приходила к маме, я непременно торчала тут же и ждала, когда Вавочка (так ее называла мама) начнет перед зеркалом распускать волосы, вытаскивая из пышной прически маленькие шпилечки. Вроде того, как взрослые во время обеда вытаскивают косточки из жареной рыбы (нам-то их вытаскивали заранее).

Потом дама уехала в Петербург, но приезжала на лето к родным в Ташкент и каждый раз, бывая у мамы, очевидно, соблазняла ее поехать проветриться в столицу. Подруга знала мамин нрав – ее можно было уговорить на что угодно. А там, я так думаю, Надежда Федоровна делала для Вавочки все: шила (она умела сшить платье за один день), готовила любое вкусное блюдо. Тем более что деваться ей в огромном городе было некуда.

Потом начинались переговоры в письмах, и папа посылал деньги на дорогу. Потом еще раз деньги на дорогу, и наконец наша мама возвращалась домой, веселая, оживленная, в каком-то радужном настроении, словно овеянная петербургским воздухом. Гости говорили:

– Похорошела! Пополнела!

Но нам-то все это было неважно, вернули нам нашу маму – и хорошо. В доме ничего не менялось, мама была как всегда: по-прежнему можно было утащить из шкафа любую кофту или шляпу, чтобы играть «в барыни»…

Крыша

Страшная жара. Ужаснейшая жарища. В общем, обыкновенный июльский день в Ташкенте. Я сижу в тени огромной акации, но не под ней, а на ней, довольно высоко над землей. Надо мной густая сень листьев. У меня здесь гнездо, как у обезьяны. Доска прочно лежит на раздвоенном стволе. Мы все, девочки и мальчики, лазаем по деревьям и крышам.

Двор у нас некрасивый. В старом Ташкенте повсюду садики, цветы во дворах маленьких одноэтажных домов. У нас – вытоптанная земля и четыре старых дерева.

Есть у меня зато земляная крыша над сараями, она обмазана саманом и весной покрывается травой и маками – это мой сад. Лазать мне туда по высокой деревянной лестнице запрещено, но за нами никто не смотрит, лишь бы не поймала мама случайно.

Сижу читаю. Никто меня тут не найдет. Хотя уже поздно, скоро обед. Читаю свою дорогую Чарскую. Пускай взрослые ее ругают: я, когда вырасту, буду читать только Чарскую. Слышу и не слышу, но, кажется, меня зовут. Наверное, давно ищут. Уже грозно кричит тетя Паша:

– Катерина!

Да, надо скорее. Спускаться с дерева довольно долго: там есть опасные места – большие расстояния между ветками, и кора акации шершавая, как кожа крокодила, здорово больно царапается (ведь мы всегда носимся босиком). Есть более скорый способ: по толстой ветке вперед пролезть и спрыгнуть на железную крышу, по ней бегом, потом еще кусок крыши, пониже, пробежать до ворот, лечь на живот, сползти на ворота, нащупать ногой большой засов, встать на него и спрыгнуть на землю около двери нашей квартиры…

Ползу по ветке вперед. Вот я над крышей, прыгаю и попадаю босыми ногами на раскаленное железо. Я кричу и бегу вперед, бегу и ору как сумасшедшая. Раскаленное железо огнем жжет ноги, но мне надо бежать вперед – только там спасение. Издаю страшные вопли и бегу. Все выбежали из квартир во двор, все что-то кричат. Но помочь мне нельзя. Я добегаю до ворот и лечу вниз, на множество подставленных рук. Меня ловят и несут домой. Даже не ругали – так все боялись, что я от боли сброшусь с высокой крыши. Ноги мне намазали какой-то мазью, даже не было волдырей. Ведь мы всегда бегали босиком, летом – кожа грубая.

Библиотека

Как я научилась читать – не помню. Во-первых, я думала, что умение читать приходит само, с возрастом, как растут косы, как заводятся подруги.

Я помню, что вход в библиотеку был с улицы, рядом с нашим крыльцом. Я сижу на высокой лестнице в комнате, рядом с той, где выдают книжки, разглядываю толстую книгу и читаю с трудом название: «Анна Каренина». Книжка не нравится. И буквы, и слова очень скучные, и шрифт не такой, как в других, моих книжках. Я лезу на лестницу повыше – я думаю: чем выше, тем книги наряднее и красивее.

Эта комната с маленьким окном, в ней довольно темно. Кто меня пускал туда, не знаю. Первая встреча с «Анной Карениной» произошла в шесть лет.

Я постоянно слушала, как отец ругает Ивана и Мусю за их дневники и двойки и расстраивается, и твердо решила: буду учиться хорошо, чтобы родители не огорчались. И стала я учиться в гимназии, и так хорошо училась – никогда у меня не было двоек. Но никто не обращал на меня внимания. Они даже на мой дневник не хотели смотреть. Я приставала к маме: «Подпиши дневник». Она говорила: «Отстань, не видишь, я занята». Потом, позднее, я стала подписывать дневник сама, никого не беспокоя. Не из деликатности, а так было проще.

Учиться мне было легко. Все ужасы русской грамматики я преодолевала не задумываясь. Никакие «яти» были мне не страшны, я на глаз примеривала, как красивее написать, так или эдак, и писала правильно, не зная почему. А исключения мы учили наизусть – это было просто и легко:

разве, инде, где, покамест,
слева, некогда, нигде,
и втройне, вчерне, в соборне,
и пешком наедине —

Все они писались через «ять», заучишь – и навсегда запомнишь.

Русский язык! Как я люблю тебя. Какое счастье уметь говорить правильно по-русски, читать и слушать, как красива русская речь! Сейчас многие говорят неправильно, небрежно – это глупо и безнравственно.

Гимназия

Вот я там писала о девочке, как она с семьей ехала в Москву. Ну, они, конечно, туда приехали. И началась совсем непохожая, другая жизнь. Надежда Федоровна определила меня в гимназию фон Дервиз, в Гороховском переулке. Это было довольно дорогое учебное заведение, вроде института. Там учились девочки живущие (пансионерки) и приходящие. Я думаю, что они были из состоятельных семей – красивые шубки, шапки. Я была одета хуже других: и пальто, и форма мои – из дешевого материала. К тому же я по-прежнему вела себя как мальчишка. В трамваях площадки были без дверей, можно было впрыгивать и спрыгивать на ходу, что я и делала. Юбка постоянно трещала и рвалась внизу.

В классе меня посадили за парту рядом с крупной девочкой, строго, гладко причесанной, с туго заплетенной косой на спине (стриженых девочек, по-моему, тогда не было). Я рядом с ней выглядела ощипанным цыпленком. Мои две косы, заплетенные над ушами, постоянно мешали, падая на парту, когда наклонишься, и казались мне жалкими рядом с ее косищей.

В дверях класса были стекла, и время от времени там появлялись лица девочек.

– Смотри, смотри! Видишь? – спрашивала меня Лена с косой.

– А чего это они смотрят на нас? – спрашивала я.

– Не на нас, а на тебя!

Действительно, было на что посмотреть: новенькая, девочка, которая приехала из Ташкента (его и на карте не сразу найдешь в Азии), да еще фамилия – Зеленая.

Это привлекало внимание чуть не всей гимназии.

А потом я стала обыкновенной, здешней, москвичкой. Мама, как было принято тогда, водила нас два раза в год в театр. Я видела Большой из ложи четвертого яруса, сияющий огнями во время антрактов, и в бинокль рассматривала Спящую красавицу из-за спин взрослых, сидящих в этой ложе. И конечно, тоже как полагалось, смотрела «Синюю птицу» с галерки Художественного театра.

А с 1914 года где-то шла страшная война с Германией. И на этом основании девочки перестали учить немецкие уроки. Я-то уж, конечно, тоже старалась не знать ничего. И бедный немец терпел такое проявление патриотизма.

Вообще, ранее существовавшие в этой гимназии строгие порядки стали уступать всеобщему, вероятно, духу времени: мы убегали с уроков, прятались в саду, дерзили классным дамам и что-то воображали. Но среднее образование все-таки получили и даже до сих пор многое помним.

Были еще в гимназии уроки рукоделия. Я категорически старалась не принимать в этом участия, взяв на себя роль усмирительницы шумящих девочек: я во время уроков читала вслух. А если меня заставляли штопать или подрубать платки и учительница рукоделия требовала, чтобы шили обязательно с наперстком, я надевала наперсток на мизинец и, отставив палец как можно дальше, шила под шепоток девчонок, восторгавшихся тем, как я остроумно решила вопрос с наперстком. Так я и не научилась ни шить, ни пришивать пуговицы. Мне всегда кажется, что они падают как созревающие плоды и помочь этому нельзя, пока они не упадут и не потеряются. Даже через сто лет, на фронте, кто-нибудь из мальчиков фронтовой бригады пришивал мне оторванный рукав или пуговицу на пальто. Да и во всех поездках, не только на фронте, чемодан укладывать мне тоже помогал кто-нибудь из друзей, чаще – мальчики, потому что я делать этого не умела. Я просто бросала все подряд в чемодан, уминала, как могла, становилась коленками на крышку (за пять минут до отъезда) и запирала замки. Если что-то торчало из-под крышки, я отрезала это ножницами.

Театральная школа

Я просто шла по улице, ни о чем не думала и увидела объявление: «Прием в театральную школу». А я даже и не подозревала, что этому учатся в школе – быть артистом. Знакомых актеров у моих родителей не было, а я тем более сроду не видала их в глаза.

Вошла в здание, как мне помнится, современное даже в сегодняшнем смысле слова. Потом я узнала, что здесь в 1898 году шли репетиции Художественного театра, К.С. Станиславский ставил спектакль «Царь Федор Иоаннович». Вот прочла я объявление, записалась, узнала, когда надо приходить. А что? Отца и маму спрашивать не надо: ведь революция – всем свобода. Никому дома ничего не сказала, пошла через день сдавать экзамен.

Было много разных юношей и девушек. Из восьмидесяти человек приняли двадцать два. И меня тоже. Я даже не знала, что на экзаменах надо читать басню, и почему-то прочла стихотворение Никитина «Выезд ямщика». Наверно, это было действительно смешно: стоит тощая девица с двумя косами и вопит от лица дюжего ямщика, уезжающего из дома:

Уж у нас, коли лень,
День и ночь спим кряду,
Коли пир – наповал,
Труд – так до упаду,

Коли ехать – катай,
Головы не жалко!
Нам без света светло,
Без дороги гладко.

Певцов и Шатрова буквально не могли удержаться от смеха и отворачивали лица. Но я ни на кого не обращала внимания. Мне было не до них. Однако чем-то я экзаменаторам понравилась.

И вот два года мы учились в школе Свободного театра и слушали лекции, танцевали босиком («пластика» – назывался предмет). Это был замечательный театр. В нем играли прекрасные актеры: Певцов, Белёвцева, Карпов, Игренев, Блюменталь-Тамарина, Радин, Шатрова, Борисов. Они были нашими учителями и педагогами. Что я на экзамене им понравилась, я узнала потом. Мне рассказали, когда я почти провалилась при переходе на второй курс. Нас занимали в спектаклях, в массовых сценах, мы знали все пьесы и роли. Я читала наизусть целые акты, реплика за репликой, передразнивая всех актеров, вместо того чтобы подумать, над чем мне самой надо работать, как выбрать отрывок для экзамена.

Наше поколение актеров – первое, учившееся уже после революции. Мы присутствовали при сотворении мира – нашего мира. Но ведь те, кто был в театре до нас, в это время тоже стали участвовать в создании нового, нашего театра.

В театральной школе многие старшие актеры, которыми мы восхищались на сцене, были нашими преподавателями и учили нас всему. Какие-то обычаи, актерские суеверия, словечки, шутки переходили от них к нам. Например, если листок с ролью (а на нем написано: «Выходит, берет письмо, уходит за кулисы») падал на пол, надо было обязательно сесть на него, чтобы не провалить роль. Так же, как старые актеры, мы мелко-мелко крестились перед выходом на сцену. Как они, постоянно разыгрывали друг друга. Но это, конечно, не было главным. Главное – мы научились у них по-настоящему, беззаветно любить и уважать театр.

Однако мы ничего не знали о жизни своих кумиров. Какие они? Как живут? Они казались нам людьми другой породы, таинственными и непонятными.

Какие-то легенды или мифы о них доходили до нас из четвертых уст, в том числе и совсем невероятные. Например, что герой-любовник О.Ф. убил в Сокольниках артистку В., жену своего друга, привез ее на извозчике в полицию и сам во всем признался. Как там все дело обошлось и было ли это вообще, мы не знали. Но, участвуя в массовой сцене на балу в «Даме с камелиями», старались пронестись в вихре вальса как можно ближе к О.Ф., чтобы разглядеть его лицо (он не был нашим преподавателем).

Старый актер Карпов, такой же непонятный, как все, нравился нам шутливыми замечаниями на занятиях. Его словами мы пользовались потом всю жизнь. Одной нашей студентке, которая излишне увлекалась мимикой, он говорил сердясь: «Я еще раз повторяю всем, что актер никогда не должен хлопотать мордой». А в следующий раз сообщил: «Я напоминаю: если вас убивают в четвертом акте, то нельзя выходить в первом уже с убитым видом».

А потом вдруг в труппе театра появился новый актер, приглашенный, по-моему, из Киева. Он – комик, не салонный, а простак. Амплуа тогда были очень точными: были героилюбовники, которым никогда не дали бы характерную роль, были бытовые старухи, инженю и «мерзавки с гардеробом» (эти «мерзавки», очевидно, были только в провинциальных театрах, куда женщина-вамп, роковая героиня, приезжала, сшибая с ног провинциальную публику своими туалетами).

Значит, появился А.П.К., довольно интересный, более понятный, попросту разговаривающий с нами, будто ровня. И наши барышни вдруг разволновались. Каждая из них считала, что это именно она привлекла внимание известного актера. А другие, менее подверженные его обаянию, высмеивали их и подслушивали все разговоры, которые А.П.К. вел за кулисами с каждой из них в отдельности, повторяя одни и те же слова:

– Завтра, на спектакле, я увижу вас опять…

Нам-то было смешно, а самая прелестная девушка, Шурочка В., полюбила А.П.К. на всю жизнь. Но это уже другая история.

Но ведь теперь и для старшего поколения актеров все вокруг менялось. И наши «сверхчеловеки», например Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина или Певцов, приезжали иногда в театр прямо с концерта с полбуханкой черного хлеба в руках или с березовым поленом, полученными как гонорар, и очень гордились этим. Иные к этому времени уже уехали из России навсегда (Мозжухин, Лысенко, Рунич и другие).

Наши кумиры до и после спектаклей ездили выступать в шефских концертах в воинские части и на заводы (вот как давно родилась эта традиция!). И нас, студийцев, отправили на фронт, под Царицын. Мы играли там перед красноармейцами, и всех пришлось запихнуть в грузовики посредине «Женитьбы Белугина», чтобы срочно отправить на пароход, так как белые наступали. Наш пароходишко уходил под отдаленный гул орудий.

Но тогда вся обстановка, само время ставили нас в совершенно другие условия. Было очень голодно, холодно, и были мы уже не «особенными людьми», а просто мальчишками и девчонками, влюбленными в театр, безо всякой почвы под ногами, даже без стипендии.

Театр «Крот»

Одна тетка сказала мне, что здесь, в Одессе, существует группа людей, увлеченных театром, – любителей. Собственно говоря, это была не тетка, а певица. Она жила рядом с нами, играла на рояле и пела, довольно громко. Нас приютила ее родственница, и мы жили втроем: я, мама и сестра – в почти пустой комнате с голыми окнами. Но был стол, и на чем-то мы спали. В городе не было воды, возили воду из порта в бочках и продавали. Стояла необычная для юга холодная весна, как на севере.

Давно я стала главой семьи, хотя в этом чужом, непонятном городе работы у меня не было. Здесь был голод. Помочь нам не мог никто.

Тогда, в поезде, когда мы все-таки доехали до Одессы, маме предложили приютить нас на время ехавшие вместе с нами чужие люди. Они узнали от мамы, что в Одессе нас никто не встретит. Со мной не советовались: меня вынесли из вагона в тифу, без сознания. Пока я болела, эти добрые люди помогли найти адрес отца.

Оказалось, отец был уже не один. Он по дороге тоже заболел тифом в Киеве, и его спасла какая-то женщина, видно, одинокая, потому что, когда он смог двигаться дальше к месту своего назначения, она, бросив все, поехала за ним. Им дали в Одессе комнату. Отец уже приступил к работе и восстанавливал вещевые склады для армии: перед уходом белые разорили и разрушили все, что не могли увезти с собой.

Когда отец узнал, что мы приехали к нему, он ужаснулся: ведь совсем скоро его должны командировать дальше и дальше. Насчет Елены Степановны отец не беспокоился: ведь он ее предупредил, что у него семья.

Но мама решила все быстро и по-своему. Она сказала мне:

– Ну и прекрасно. Он уедет с Еленой Степановной, а я останусь с вами здесь.

Комнату мы к этому времени нашли. И вот мы оказались без отца и неизвестно зачем в этом городе. Ни денег, ни еды. Надо было служить, чтобы получать паек. Но как и где служить, я совсем не знала. И искать работу в такой холодище просто невозможно: плюс два в Одессе с пронизывающим ледяным ветром были холоднее, чем минус двадцать в Москве. Неистовый ветер сбивал с ног, особенно слабых и голодных. В нашей комнате, как во всем городе, отопление не работает и укрываться нечем. Вот мы ложимся спать. Я лезу в ледяную постель, покрываюсь простыней, кладу сверху юбку, кофточку, шарфик и поверх всего галстук, чтобы насмешить сестру и маму: они уже лежат, и им холодно. Тогда я вдруг вскакиваю голая, хватаю испанский веер (его мама не забыла взять из Москвы) и начинаю бешеную пляску, прыгая, как кошка, и обмахиваясь веером. Они хохочут, как в цирке. После этой гимнастики мне действительно становится тепло, я кладу на себя сверху еще газету и засыпаю.

Однако я попросила свою певицу точнее узнать, нельзя ли мне повидать кого-нибудь из этой группы любителей. И она помогла мне встретиться с ними.

Я тогда не представляла, каким будет это знакомство…

А весна ворвалась в город как бешеная. Все преобразилось. На улицах расцвели каштаны. Цветы на них, оказывается, как огромные белые свечи. Солнце сияет.

Потом выяснилось, что тут есть Черное море. И есть знаменитый бульвар и лестница, которую сегодня знает весь мир, она в картине «Броненосец “Потемкин”». А я о ней не знала и нашла совершенно нечаянно, возле Дюка Ришелье. Ведь тогда никто не водил меня по городу – у меня не было ни одного знакомого человека.

И все-таки я попала к тем людям, с которыми хотела встретиться. Я пришла на красивую улицу, в красивый дом, в запущенную роскошную квартиру, которая, видно, не убиралась с семнадцатого года. Красивые, настоящие вещи, мягкая плюшевая мебель, картины были для меня как декорация в театре. До сих пор я никогда не видела таких квартир. Огром-

ные вазы особенных форм на полу, столы и столики неизвестного мне назначения – это были предметы роскоши. Мне не приходилось раньше интересоваться ими, потому что я ничего не знала об их существовании. И люди здесь были другие совсем: молодые, они были образованными, умными в разной степени, воспитанными и демократичными. Их, совсем разных, объединяла любовь к театру, к сцене. Уже давно, многие годы, у себя в домах они устраивали спектакли. Сами писали пьесы или переводили в стихах и прозе, делали костюмы, пели, танцевали для своих друзей и знакомых. Теперь они хотели показывать эти спектакли зрителям, всем желающим.

Конечно, это были первые новые люди, с которыми я встретилась в своей короткой жизни. Они думали иначе, видели иначе, чем я и все, кто меня окружал до сих пор. Со многими из них потом дружба, творческая и личная, длилась долгие годы или всю жизнь.

Я, со своей круглой, обритой после тифа головой, сразу подошла им, и они мне – тоже. Вот, оказывается, зачем я ехала сюда так долго: мне нужно было, значит, играть в пьесах Козьмы Пруткова, а не Ибсена, «червонную двойку в революционной колоде карт», а не «Дети Ванюшина», нужно было петь, танцевать, переодеваться каждую минуту, играя по пять ролей в один вечер. Для меня перестали существовать голод и холод. Целые дни надо было работать, чтобы менять программу каждую неделю. Репетиции, спектакли – ведь зрители платили деньги, которые делились между всеми. Пусть самые маленькие деньги, заработанные мной и сестрой на восьмушку хлеба, но деньги.

Сестра тоже нашла свое место в этом театрике – как балерина. В свое время в Москве мама не зря отдала ее в платную балетную школу Нелидовой. Конечно, потихоньку от отца, который определил Зинаиду учиться в Епархиальную гимназию при Скорбященском монастыре, красное кирпичное здание которого и сегодня стоит на Новослободской улице. Сестра не стала ни монахиней, ни балериной и успешно работала актрисой, долго – в «Синей блузе», а затем в «Кривом Джимми» в Москве и в Театре сатиры.

В 20-е годы не только в Одессе – повсюду рождались маленькие театры. Они ждут своих исследователей, и я расскажу потом о тех из них, где мне довелось работать. Эти театрики появились одновременно в Москве, Харькове, Петрограде. В них самые молодые актеры играли рядом со старыми. Они возникали и расцветали, имели успех. Потом их прихлопывали какие-то досужие рачители искусства. Защитников не находилось. Тут с Большими и Малыми театрами было не управиться.

В нашем театре никто никого не назначал, но как-то складывалось само собою, что у всех были свои обязанности и амплуа. Рабочим сцены, например, была Люся Гинзбург – угловатая девочка, неловкая, умная до такой степени, что сейчас она доктор филологических наук, профессор-литературовед в Ленинграде, автор многих научных трудов. Она же на занавесе, ей же за все попадает.

Душа всей технической работы театра – Н. Блюменфельд. Она костюмер, она рабочий, художник, переводчик, портниха, парикмахер, козел отпущения и машинистка. Кроме того, она жена нашего главного режиссера В. Типота и актриса на выходах.

Костюмерная наша помещалась вся в одном большом сундуке. Туда вообще заталкивалось все для нашего театра, приносившееся из дома не на время, а насовсем: клетчатые лоскутья, полосатые ленты, куски материи, украденные из дома, штаны, просто отдельные бархатные рукава, цилиндры, фалды от фраков, страусовые перья, ботинки на пуговицах, шали, распоротые платья, шляпы, кружева.

В каждой программе все это служило по-разному. Сегодня это был шлейф дамы, в следующей программе – плащ палача или скатерть на столе на сцене. В случае необходимости сундук пополнялся новыми «ворованными» дома вещами.

Первый вопрос, который Надежда Германовна Блюменфельд задавала актеру: «Вы спиной к зрителям поворачиваетесь?» Если нет, ваш костюм сзади она затягивала веревкой

или куском бязи. Лицом к публике при этом вы стояли в великолепном одеянии из блестящей парчи или бархата, с бриллиантовыми застежками и короной на голове. Со сцены одетый таким образом человек уходил за кулисы, так ни разу не повернувшись спиной, и публика ничего не знала о необыкновенной изобретательности, находчивости, выдумке нашей художницы.

Мы играли царей, средневековых дам, санкюлотов, русских матрешек и французских маркиз в фижмах. Иногда костюмы делались даже целиком.

Наш режиссер Виктор Типот, химик по образованию, будущий автор первых советских оперетт «Свадьба в Малиновке», «Вольный ветер», «Сын клоуна» и других, был не только режиссером, но и автором, и завлитом, и худсоветом, хотя в худсовет входили также Вера Инбер, которая уже тогда была Верой Инбер, Е.А. Левинсон, А.Н. Фрумкин, будущий академик, известный всему миру химик.

Спектакли наши шли с большим успехом. Но так не хватало сатирического перца! Самые, вероятно, необходимые для театра, для нас люди, которые в это время начинались как сатирики, чьи биографии сейчас изучают и знают: Ю. Олеша, В. Катаев – уже уехали из Одессы, сначала в Харьков, а потом в Москву. Как странно, что мы тогда ничего не знали о них. Иногда появлялся у нас кто-то – молодые, случайные авторы, непрофессионалы. В программе был даже многосерийный детектив «Голубой брильянт» В. Инбер и В. Типота. Для каждой программы писалась новая серия. Появились попытки отразить современность: восставала против короля червей колода карт.

Театр назывался «КРОТ». Аббревиатура расшифровывается так: Конфрерия Рыцарей Острого Театра. Как полагается «кроту», театр помещался в подвале. Шли пародии на оперетты. Потом это стало для всех маленьких театров тривиальным приемом, но тут все было в первый раз, все надо было придумывать самим. Даже балет «Красная Шапочка» был, по-моему, придуман и поставлен впервые.

Вера Михайловна Инбер написала для меня и для себя маленький диалог кукол. Она была французская кукла Мариетта из Прованса, а я – русская Матрешка (по-моему, тогда Матрешка появилась впервые; зато потом – ой-ой-ой!). В финале В. Инбер пела:

Я Мариетта, родом из Прованса,
Люблю поэта Анатоля Франса.

А Матрешка, впервые заговорившая со сцены, отвечала:

А у нас есть свой поэт московский —
Владимир Владимирович Маяковский.

В. Инбер очень увлекалась своей театральной работой, ждала с нетерпением рецензий. В каждой программе она писала для себя очаровательную крошечную миниатюру. Действие всегда происходило в Вене. Действующие лица – она, Мици, и ее муж, толстый немец (всех немцев играл Митя Кесслер – впоследствии крупный инженер-энергетик в Москве. Он всегда играл туповатых и толстых персонажей в нашем театре).

Шла у нас пьеса «Ад в раю» – миниатюра в стихах В. Инбер о невыносимой обстановке, сложившейся в раю для Адама и Евы.

Какие-то вести доходили до нас из Москвы. Уже кто-то приезжал оттуда, кто-то уезжал туда. Рассказывали, что в Москве появились новые театры, новые постановки. Меня, москвичку, волновали разные противоречивые слухи. И когда в очередной раз встал вопрос о нашем театре и его существовании, я решила все-таки поехать в Москву. Это был довольно отчаянный шаг, но его надо было сделать.

Я оставила в Одессе маму и сестру и при первой же возможности села и поехала в Москву, чтобы понять, что мне делать дальше.

Москва была не та, которую я оставила.

Сверкали вымытые стекла магазинов. Витрины ломились от товаров. Открылся магазин, бывший Елисеева. В Охотном ряду на лотках лежали метровые осетры, семги, в корзинах – живая рыба, в плоских ящичках – золотые копчушки, дальше фрукты, коробки с халвой – все, чего захочет душа. Если деньги есть.

Но мне необходимо было узнать, как и что в театрах. А узнать-то у кого?

Моя старшая сестра, которая оставалась в Москве, все в той же квартире, приняла меня довольно сухо.

Фамилия

Очень нужно записать вот что: люди часто интересуются моей фамилией. Одни спрашивали, почему я выбрала такой псевдоним, а другие уверяли меня, что я родилась в Одессе и что я дочь одесского градоначальника Зеленого, поэтому у меня такая фамилия. Мне приходилось отказываться от такого родства не только потому, что одесский градоначальник в свое время был предметом насмешек для знаменитого клоуна А. Дурова, но просто потому, что у меня был свой отец, хотя и не генерал.

Отец рассказывал мне (после долгих лет разлуки, когда он стал стар и больше не работал, он приехал в Москву вместе с Еленой Степановной и уже до конца жизни был на моих руках), что в годы революции его вызвали куда-то, чтобы уточнить обстоятельства его деятельности как градоначальника Одессы и узнать, почему он не указывает этого факта в анкетах. Отец сообщил, что никогда не бывал в Одессе до революции и ему не привелось быть градоначальником.

– Как вы можете это доказать? – спросили его.

– Может быть, доказательством служит то, – ответил, подумав, отец, – что одесский градоначальник Зеленый давно умер, а я чувствую себя прекрасно.

И его отпустили.

Так что фамилия у меня своя собственная. А вот имя – Рина, которое ни в ком не вызывает сомнений, оно ненастоящее, оно уменьшительное и является половинкой моего полного имени Екатерина. Когда писали первую афишу, на ней мое длинное имя не поместилось, только – Рина. И почему-то это сразу оказалось коротко и удобно. И так и осталось. А маленькие дети очень часто считали и считают, что это одно целое слово: РИНАЗЕЛЕНАЯ. Так и пишут каракулями в своих письмах. И я себя тоже так рассматриваю.

Когда начиналась наша театральная жизнь, на афишах писали имя, отчество и фамилию. У меня получились имя и фамилия. Потом это стало модой – писать именно так. Теперь опять пишут более солидно, с отчеством.

«Нерыдай»

Уж не помню, как там все было, только опять я почему-то шла по Каретному ряду. И на самом углу Успенского переулка, где сейчас начинается территория сада «Эрмитаж», увидела странную вывеску. Яркая, нарядная и нелепая, она нахально лезла в глаза: Театр «Нерыдай». Как будто прямо для меня написано: «Не рыдай!» – я шла растерянная, подавленная, чуть не плача. Приехала, кажется, домой, а чувствую себя совсем чужой. Город шумит, везде торгуют, несутся рысаки-дутики (экипажи у них на дутых, как у велосипедов, шинах), мчатся автомобили, все освещено, всюду рекламы горят. И это после омертвевшей, еще не оттаявшей Одессы. И вдруг – «не рыдай». Ладно, посмотрим.

И вот, представьте себе, не прошло и нескольких дней, а я уже служу в этом театре, будто тут только меня и ждали.

Все кругом необычно, непривычно. «Нерыдай» – ночное кабаре. Царствует нэп. Тут лучший повар, тут изумительно кормят. Нам, артистам, по-моему, тоже полагался ужин. Это было очень уместно и вкусно. Повара, оставшиеся после отъезда Рябушинских, Морозовых, Зиминых, Игнатьевых и прочих, еще вчера бывшие не у дел, вдруг неожиданно стали главными действующими лицами. Их переманивали из ресторана в ресторан. «Савой», «Аврора», «Националь», «Ампир», «Большая Московская», «Прага», «Яр», «Метрополь», «Астория», погребки, подвальчики открывались один за другим, а повара ценились на вес золота (буквально). Впоследствии многие из них перекочевывали за границу, открывали рестораны во всех столицах мира, и вместе с ними туда переехала «русская кухня».

Повар в «Нерыдае», нестарый человек с голубыми задумчивыми глазами и русой, русской, аккуратно подстриженной бородой, говорил мне, когда я после выступления выходила во дворик посидеть отдышаться на скамейке:

– Ну, дорогая, сегодня я вас угощу ужином! Пальчики оближете! Обратите особое внимание – пирожки с нутром телка.

Действительно, до сих пор помню. Посетителям попасть ночью в кабачок «Нерыдай», несмотря на высокие цены, было не так просто. Зал здесь не такой большой, как в ресторанах, поэтому столы стояли довольно тесно. Половые в белых рубахах и штанах ловко сновали между столиками, мгновенно и точно выполняя все требования. На стенах, расписанных в русском стиле, лубочные картинки. Против сцены в стене находилась директорская ложа Кошевского, сделанная в виде большой русской печи. Туда он мог посадить сколько угодно своих фаворитов и знакомых. А вдоль стены шли отгороженные друг от друга невысокими перегородками ложи завсегдатаев.

Особое место в зале занимал актерский стол, длинный, человек на двадцать, с лавками вместо стульев. Меню было особое, недорогое и вкусное. Стол предназначался для избранных – артистов, художников, писателей.

Так как мест не хватало (прибегали актеры изо всех театров), иногда надо было даже записываться в очередь. Многие из посетителей хотели бы посидеть за этим столом. Здесь царило неудержимое веселье. Читались эпиграммы, новые стихи, пересказывались театральные сплетни.

В «Нерыдае» была не только отличная кухня, но и театр. Мы, актеры, сквозь дырочку в кулисах или на заднике (где был изображен огромный самовар и чашки) могли видеть весь зал. Артисты смотрят, видят за отдельным столиком своих друзей. А рядом богачи-нэпманы едят стерлядь в белом вине, паштет из дичи, соус кумберленд, с аппетитом хрустят косточками рябчиков в сметане, глотают удивительные расстегаи с визигой и в то же время сворачивают шеи, чтобы получше разглядеть знаменитых писателей или художников, сидящих в зале. Зал ярко освещен: и со сцены можно увидеть каждого, и в зале все видят друг друга.

Во время танцевальных и музыкальных номеров публика продолжает жевать, разговаривать и звенеть бокалами. Выходят куплетисты. Жующие начинают прислушиваться. Постепенно замолкают, слушают и смеются все. Куплеты острые, злободневные.

Театр-кабачок «Нерыдай» придумал А.Д. Кошевский, комик петроградской оперетты, видно, деловой человек, который сразу понял, как делать деньги и что сейчас нужно. Кошевский создал этот театр по своему вкусу. Он и антрепренер, и художественный руководитель, и, разумеется, платит за все авторам и актерам он.

Но уже немного погодя само время и новые люди – актеры и авторы – вносили свое и иногда брали над Кошевским верх. Споры велись постоянно.

Второй человек в кабаре «Нерыдай» после А.Д. Кошевского – первый во всем и старший – Георгий Баронович Тусузов, впоследствии известный актер Театра сатиры и кино. В «Нерыдае» Тусузов конферировал вместе с М.С. Местечкиным.

Днем Кошевский сидел в пустом зале и смотрел репетиции. Конечно, ведь все зависело от него. Когда он был недоволен или чем-то возмущен, то хватал лежащую перед ним на столе коробку с папиросами «Сафо» или «Самородок» и сжимал ее в кулаке так, что ломались с треском и коробка, и папиросы. Это был отработанный прием, признак величайшего гнева. И все делали вид, что трепещут.

А потом умный Тусузов, видя, что Кошевскому самому жалко сломанных папирос, придумал выход: он подсовывал ему пустые коробки, которые так же хорошо трещали, и их хватало до конца репетиции.

Когда актеры и авторы продолжали гнуть свою линию и делать репертуар более острым, ядовитым, критическим, Кошевский сопротивлялся как мог: «Нерыдай» и так имел успех – Кошевский получал деньги.

Вот тут мы и начали работать. Здесь я впервые увидела Игоря Ильинского. Он прелестно танцевал под бравурнейший мотив полечки, выделывая невероятные антраша. Крутя ногами и подкидывая свою партнершу, он ритмично и бешено-весело пел:

Давайте лучше танцевать, мой друг!
Мне ваши речи слушать недосуг!
К чему слова такие?
Их слышу не впервые… – и т. д.

В «Нерыдае» работали Егор Тусузов, Михаил Гаркави, Марк Местечкин. И мы начали перекраивать обычаи кабачка, делая программу не для жующих, а для тех, кто приходил смотреть нас.

Рядом, в «Эрмитаже», на открытой сцене в программе шел иностранный номер «Угадывание мыслей на расстоянии мадам Дюкло». Он пользовался неизменным успехом. В «Нерыдае» очень быстро была создана пародия: «Отгадывание мыслей на расстоянии мадам Дупло». Сеанс ведет «профессор» (артист М. Местечкин). Это было действительно страшно смешно. «Профессор» Местечкин подходил к присутствующим в зале, задавал вопросы, а мадам Дупло с завязанными глазами (артист Г. Тусузов), зная заранее, к кому он подойдет, отвечала быстро и точно. Ну, например:

– Мадам Дупло, кто этот человек? О чем он думает?

– Это Даревский, актер. Он думает, что он хороший актер.

Номер угадывания мыслей на расстоянии держался очень долго и имел успех.

Я пела песенки, текст которых писали В. Инбер, Н. Эрдман. Музыку сочиняли М. Блантер, З. Кац, Ю. Милютин. И столько было в нас молодости, веры и убедительности, что нам удавалось заставить слушать и понимать то, о чем шла речь.

В кабачке ужинали Н. Асеев, Н. Эрдман, В. Ардов, А. Крученых, В. Шершеневич, А. Мариенгоф, В. Небольсин. Частым гостем был Л.В. Колпакчи, издатель и редактор театрального журнала «Зрелища». Молодые журналисты и художники постоянно печатались у него, и, получив гонорар, все вместе скорее отправлялись ужинать в «Нерыдай». А уж художники П. Галаджиев и В. Комарденков всегда были тут. Заходил даже Иван Поддубный.

Из зала на сцену все время летят реплики. И, как в теннисе отбивается мяч, в ответ со сцены в зал летит шутка, от которой зрители приходят в восторг. Баталия остроумия продолжается весь вечер.

Одну из программ вела ленинградская актриса Марадудина, первая женщина, которая конферировала, и довольно остроумно. Однажды В. Ардов, готовясь по своей привычке сострить, обратился к ней: «Товарищ Марадудина!» – но Марадудина мгновенно ответила старинной поговоркой:

– Гусь свинье не товарищ!

Ардов на секунду растерялся. Зато В. Маяковский тут же бросил реплику:

– Ну, хорош вы гусь, Ардов!

Зал бурно реагировал, обсуждая, кто же в таком случае свинья. Но однажды молодой Виктор Ардов, который умел из зала сбить с ног любого конферансье, сам попал в свои сети. Это довольно известная история, но она короткая, и я расскажу ее еще раз.

Руководитель, конферансье и хозяин театра Кошевский, после того как Ардов много раз ставил его в безвыходное положение, придумал гениальный ход. Он предложил однажды Ардову поступить в театр в качестве конферансье и вести программы. Тот соблазнился. И нужно было видеть, как Виктор, растерянный и беспомощный, целую неделю терпел, метался по сцене, не умея отразить град реплик из зрительного зала, – в игру включились все остроумцы. Многие даже специально приезжали терзать его. Теперь Ардов понял, что это разница – бросить реплику из зала или весь вечер отражать удар за ударом. Ардов подал в отставку и надолго замолчал. Кошевский торжествовал.

Много лет спустя я не раз вспоминала об этом на авторских вечерах В. Ардова, уже прославленного юмориста и сатирика, когда он перед любой аудиторией умело и уверенно отвечал на любые реплики, разя и попадая точно в цель.

Представления в «Нерыдае» начинались в полночь. Ночью, когда в других театрах заканчивались спектакли, сюда приходили актеры, писатели, поэты, художники. Постоянно в зале сидели художники Лентулов с друзьями, Комарденков, молоденький С. Юткевич.

Приезжали из Петрограда ФЭКСы (Фабрика эксцентриков): Козинцев, Трауберг, Кулешов – и режиссер Н.В. Петров, который в это время уже организовал «Балаганчик». Часто кто-нибудь из приезжих гостей-артистов выступал на сцене экспромтом. Так, однажды приехал Владимир Николаевич Давыдов, просто икона русского театра, на которого можно было молиться.

По просьбе публики он спокойно влез из зала на сцену и запел старинные куплеты:

Корсетка моя,
голубая строчка,
Мне мамаша говорила:
«Гуляй, моя дочка!»

Так прекрасно он пел, аккомпанируя себе на гитаре, так музыкально, такой старенький, и так это умиляло, что зал затих. Даже официанты замерли с подносами в поднятых руках, прислушиваясь к его слабому голосу.

Спектакли в «Нерыдае» заканчивались под утро, часа в четыре. Зрители разъезжались на своих извозчиках (нанимались извозчики поденно, понедельно или помесячно). Нам с

сестрой добираться домой было далеко – на Землянку. Извозчик был не по карману. Иногда нас провожали наши поклонники-актеры. Потом этот вопрос уладился таким образом.

Умный Егор Тусузов, человек расчетливый, договорился с деревенским мужичком, имевшим лошаденку, розвальни и дела в Москве, чтобы тот подъезжал к углу Успенского переулка в 4 часа утра и отвозил нас с сестрой домой. Мы с ней усаживались в розвальни на сено и ехали через всю Москву, еще пустую, непроснувшуюся, иногда прямо по припорошенным снегом трамвайным рельсам. Если же издалека доносились звонки первого трамвая (они тогда звонили вовсю), я кричала нашему вознице:

– Евсей! Куда же ты едешь прямо на трамвай!

Он поворачивал голову и, хлестнув лошаденку вожжами, кричал в ответ:

– А ничего! Я его не боюсь!

Было в «Нерыдае» множество историй и забавных случаев. Наверное, об одном из них я только слышала, а случилось это до моего появления.

Художник Лентулов привел сюда угостить, накормить хорошенько молодого художника Осмеркина. Тот был одет более чем странно даже для того времени. На нем была визитка (смотри словарь Ожегова), купленная на Трубе (рынок на Трубной площади), а на ногах – валенки, присланные отцом из деревни. Художники сели за стол и начали ужинать. Осмеркин был необыкновенно красив, с золотыми кудрями, которые вились неправдоподобно прекрасно. Соседи обратили внимание на валенки, что-то сказали на этот счет и стали смеяться. Лентулов остановил их:

– Как вам не стыдно! Это же артист Большого театра. Вы видите – он в визитке. А голос у него тенор, он должен его беречь, и поэтому доктор велел ему ходить в валенках.

Все сразу поверили – в лицо никто артистов не знал, еще не было ни радио, ни телевидения – и стали умолять Осмеркина спеть что-нибудь, начали кричать и аплодировать всерьез. Осмеркин испугался.

Тут Лентулов, видя, что дело принимает серьезный оборот, уговорил Осмеркина кончить ужин и подняться на сцену:

– Ты только дойди до рояля и встань в выемке инструмента, как это делают певцы. Остальное я беру на себя.

Увидев, что нет другого выхода (зал настойчиво аплодировал, а сцена пуста), оба встали, прошли через зал и забрались на сцену. Лентулов сел за рояль, а Александр Александрович, при всей своей тогдашней робости и провинциальности, встал у инструмента и даже гордо поднял свою красивую голову. Лентулов с невероятным шиком сделал несколько глиссандо по всей клавиатуре так громко, что из-за кулис неожиданно выскочил Кошевский и, увидя непрошеных гостей, вытурил их со сцены, которую они покинули без боя и тут же ушли, не заплатив за ужин и считая, что все обошлось как нельзя лучше. (Работы обоих художников сейчас можно увидеть в Третьяковке, где выставляются картины художников 20-х годов, группы «Бубновый валет».)

Программы в «Нерыдае» менялись. Был страшно смешной первый шумовой оркестр. Появилась новая страница – «Эпитафии». Она звучала торжественно и смешно:

Здесь начинается новая в нашем театре страница,
На которой похоронены самые замечательные лица.
Они не умирали, но всякое может случиться,
И тогда эпитафии наши должны пригодиться.

Эпитафий было много, в каждой программе – новые. Например:

Здесь помещается урна

Фореггера фон Грайфентурна,
Который хотя жил халтурно,
Но к лошадям относился недурно.

(В театре, которым руководил Фореггер, – он назывался «Мастфор», мастерская Фореггера, – шел спектакль «Хорошее отношение к лошадям».)

А о самом Кошевском пели так:

Постой, прохожий, и пойми,
И основательно прочувствуй:
Кошевский здесь полег костьми
За это самое искусство.
Он умер, проронив слова:
«Я сделал все-таки немало…»
Недаром целая Москва
Над этим гробом «НЕРЫДАЛА».

Этот номер программы имел успех, его все ждали и долго потом весело распевали на похоронный мотив новые эпитафии. Пока, однако, никто не собирался ни умирать, ни даже переходить в другие театры. Но уже скоро уйдет к Мейерхольду Игорь Ильинский и засверкает там, как новая звезда. И он, и Бабанова осветят весь театральный небосклон, и будут они сиять ярко и долго.

Когда теперь я смотрю все передачи Игоря Владимировича и всматриваюсь в знакомые черты, измененные временем, я каждый раз с новым интересом слушаю его суждения или рассказы о театральных событиях сегодняшних или давних лет. Он говорит о Маяковском, Мейерхольде словами всегда скупыми и сдержанными, но полными смысла и значения, и мне радостно убеждаться, что актер смог так пронести через всю жизнь свои достоинство и талант, даря его щедро людям и от этого заряжаясь на дальнейший путь, как аккумулятор, снова и снова.

А я рада, что помню, как вечером мы сидели в Жургазе. Был такой маленький ресторан в глубине, у особняка, в котором помещалось издательство «Журнально-газетное объединение» (Страстной бульвар, 11, где раньше была редакция журнала «Чудак»). Вот там Мих. Кольцов учредил такой уголок, куда стекались, как в вечерний клуб, актеры, писатели, журналисты. Вот тут мы и сидели, все вместе, все разные – Пыжова, Гарин, Довженко, Ганф. А Ильинский сидел рядом и ел, например, раков, орудуя специальной ложечкой, как виртуоз, по всем правилам (были такие правила и такие специалисты, я никогда не могла постичь этой науки). И вдруг он отключался, глаза его останавливались, не видя, на каком-нибудь предмете, он шевелил губами, будто что-то повторял или искал чье-то выражение лица. Никто этого не замечал – все ели раков. Но я-то знала, что в эти минуты он нашел то, что ему было нужно для его новой роли. Ох, и хитрые же люди эти актеры! Никогда не знаешь, где они найдут и поймают то, что им нужно. Это были уже 30-е годы.

Не знаю, сумела ли я достаточно вразумительно рассказать о начале 20-х годов, о театре «Нерыдай», где, как в крохотной капле воды, отражался мир нэпа. В тот период и в быту, и в театре, и вообще в искусстве и во всех вопросах жизни все было не похоже на установившееся нынче, не совпадало с оценками и понятиями, привычными нашему сегодняшнему мироощущению. Что-то в этом роде было, вероятно, в первые дни сотворения мира: небо, вода, твердь, планеты, животные и растения – как все это расставить по местам? Расставишь, а потом все оказывается не так. Надо опять ломать. И все сначала. А человек в это время как в финской бане: то 100 градусов жару и пару, то сразу головой в ледяную

прорубь. Поэты, актеры, музыканты, композиторы, драматурги, вперед – к Киршону! Назад – к Островскому! Сумбур вместо музыки! РАПП, ВАПП, Мейерхольд! Долой Таирова! Ура Пролеткульту! Нет Есенину! Эйзенштейна в архив! Навеки вместе с «Бежиным лугом»! Нет – Зощенко! Открыть ясли имени Малюты Скуратова! Закрыть МХАТ 2-й! Художественному театру – имя Максима Горького! Так происходило в первые десятилетия становления нашего искусства (20–30-е годы). Я пишу обо всех этих событиях подряд, как они лежат в памяти, хотя между ними годы и годы.

И трудно, наверно, себе представить, что во время такого двенадцатибалльного шторма люди искусства жили-поживали, не только ели, пили, влюблялись, дружили, враждовали, но и боролись, что-то принимая на веру, что-то отвергая, что-то утверждая своим трудом, своим творчеством. Некоторые научились оглядываться и угадывать, как же быть дальше. И кое-кто попадал в точку, когда надо было, и поднимался (как планеры по нужной струе) на самый верх. Правда, иногда неожиданно летел оттуда кувырком. А другие упорно и добросовестно долбили каменную гору в любую непогоду, веря в себя, в свою силу, и, если им удавалось не умереть, они через много лет, уже старыми, становились на ту ступень, на которой должны были стоять много лет тому назад.

Конгресс

Среди разрозненных страниц моей судьбы есть полстранички – эпизод, который надо бы вспомнить. Произошло это после того, как я опять стала москвичкой, работала в театре и не думала об Одессе. Я уже выписала оттуда маму и сестру. Это было не так-то просто – всякие трудности с билетами и поездами. И был тогда у меня поклонник (у каждой актрисы их бывало по нескольку). Безмолвный, безропотный, он глядел на меня, когда ему выпадала удача проводить меня куда-то или откуда-то. Временами он исчезал надолго – я не замечала этого. Потом он опять появлялся. Я не удивлялась: меня не интересовало ничто, кроме театра.

Как-то я его спросила, куда он проваливается. И узнала, что он куда-то ездит, кого-то сопровождает в поездах, например в Казань или в Ташкент.

– А в Одессу вы не ездите?

– Езжу, скоро поеду.

Тут я ему строго-настрого поручила привезти из Одессы маму, сестру, еще прихватить В. Типота с женой и маленькой дочкой и доставить их ко мне хоть на крыше вагона. Он внимательно посмотрел на меня через некрасивые очки некрасивыми глазами и сказал:

– Попробую. А где они будут жить?

Вопрос был серьезный. Мне самой жить было негде. У старшей сестры просить приюта я не стала. Сняла комнату через площадку от нее – у соседей. Это была каморка в шесть метров, там стояли железная кровать и сундук, так что жить было где. Поклонник мой всех привез, кроме маленькой дочки Типота, которую пока не взяли. И вот мы все вместе стали обитать на шести метрах впятером.

Отвела Типота в «Нерыдай», познакомила с Кошевским. Тот пригласил Виктора Яковлевича работать режиссером, а Надежду Германовну – художницей. Вера Инбер приехала вскоре из Одессы сама. Комнату ей Союз писателей, по-моему, дал сразу, и она тоже участвовала в какой-то программе «Нерыдая». Но все это присказка, а сказка будет впереди.

В один прекрасный день мы узнали, что готовится спектакль-обозрение для делегатов IV Конгресса Коминтерна, что кто-то из нашего и из других театров будет принимать участие в спектакле и играть в самом Кремле. Текст пишут четыре автора: В. Инбер, В. Типот, Н. Адуев, А. Арго. Принимать текст и спектакль будет правительственная комиссия.

Николай Адуев жил в ветхом московском доме, на втором этаже. Однажды на ободранной черной клеенке двери можно было прочесть написанные мелом крупные буквы: «Ушел в Кремль». Это Адуев пошел читать написанную им сцену. Поклонницы поэта Адуева замирали у двери от восторга.

Обозрение было наконец поставлено. Множество действующих лиц играли, пели куплеты, танцевали, читали стихи и раешники. Были роли представителей Лиги Наций, тред-юнионов, клерков, дам, миссис американок, выходили Ллойд Джордж, которого играл И. Ильинский, епископ кентерберийский (Г. Тусузов), гневно осуждавший Совнарком за изъятие церковных ценностей[1].

Программка обозрения «Милые разговоры» была напечатана в виде маленькой книжечки с переводом текста на три языка.

[1] В 1922 г. Совнарком принял постановление об изъятии церковных ценностей, чтобы создать фонд помощи голодающим Поволжья, где два года подряд были страшные неурожаи.

«Балаганчик»

Когда мы приходили в бухгалтерию получать зарплату, мне, например, кассир денег не давал, а говорил:

– Вот тут распишитесь. С вас 1 р. 75 к., – и объяснял, что расходы по ремонту крыши театра так велики, что приходится удерживать с актеров высшей категории.

Директор «Балаганчика» Н. Шатов, человек очень импозантный, высокий, хорошо одетый. Идет нэп, можно купить все, но, по-моему, у него одежда неновая, хорошо на нем сидящая, сохранявшаяся до этого года, может быть, в сундуке. Его жена – актриса Мосолова, хорошая старая комедийная актриса в труппе нашего театра. Художественный руководитель – Н. Петров. Родился театр из «Вольной комедии», которая нежно относится к «Балаганчику». Сам Вивьен, прославленный, знаменитый режиссер, интересуется делами и бывает у нас на премьерах.

Меня занесло в Петроград случайно. Когда Типот поссорился с Кошевским (а я считала, что правы те, кто на стороне Типота), я сообщила, что тоже ухожу из «Нерыдая». Куда – я еще не подумала. Кто-то говорил о «Балаганчике» в Петрограде. Я села в поезд и поехала туда.

Н.В. Петров, к которому я пришла, поговорил со мной немного, улыбнулся и предложил мне начать мои выступления в текущей программе.

Все произошло как по нотам, которые я привезла с собой, чтобы петь. Театр мне показался прекрасным. Настоящая сцена, зал, который гаснет, а сцена освещена. С. Тимошенко и Н. Петров ведут программу, зал слушает, смеется, радуется. Актеры совсем молодые: Давидович, Фридлянд, Казико, Мартинсон, Кашеверова – и старшие: Рашевская, Мосолова, Рубинштейн. И старые, и молодые – все из Питера.

Об одной из программ витиевато писали тогда в каком-то журнале: «Для наших дней жанр “Балаганчика” сугубо характерен, ибо его жанр – симптомология перепутья, растерянности, выраженной не столько во внешней растерянности (напротив, “Балаганчик” самоуверен), сколько в холодном скепсисе, иногда умной иронии, беглом сатирическом смешке – этих порт-бонерах современного культурного человека, одновременно тронутого неврастенией и жаждой внешней новизны впечатлений. В том-то и огромная ценность “Балаганчика” перед лицом театральной современности – он созвучен этой современности». И дальше было написано много разных «симптомологий» на эту тему.

Молодых Н.В. Петров находил, например, в тех же «капустниках» и приглашал на пробу поработать в театре. Сам он не только руководил, ставил, писал, но и участвовал в спектаклях: пел, танцевал и конферировал. Потом в Москве он стал таким академичным, что никто бы не узнал в нем Кола Петера, как он именовался в «Балаганчике».

Атмосфера была рабочая: ни сплетен, ни склок, ни интриг; просто никто, видно, не знал, что они должны быть в театре. Все романы происходили только с Н. Фридлянд. Никогда не было точно известно, за кого она выходит замуж.

Когда «Балаганчик» выезжал на гастроли, денег нам Шатов все равно не платил. Он говорил, что везет актеров и дает им возможность загорать и дышать морским воздухом. Иногда он давал всем по 50 копеек.

В одной поездке я жила в номере гостиницы вместе с Казико. Это была очень хорошая актриса и милая женщина, но принципиальная: она покупала на наши с ней деньги сметану и хлеб. За завтраком мы съедали сметану не всю, она оставалась и прокисала – о холодильниках, даже о «Севере», мы еще и не слыхали. На другое утро Ольга покупала свежую, но мне ее не давала, пока я не съем вчерашнюю. Она командовала, а я, таким образом, всегда ела кислую сметану. Все равно все было прекрасно, и мы ни разу не поссорились. Когда надо

было переезжать из одного города в другой, Ольга смотрела за мною, чтобы я не забывала в гостинице ничего из вещей. Но я была неисправима – к концу поездки все было потеряно.

В «Балаганчике», как потом и в Сатире, моими неизменными друзьями были Ф.Н. Курихин и его жена Леша Неверова. Я всегда с нежностью и благодарностью вспоминаю Федора Николаевича. Замечательно тонкий комедийный актер. Для него специально была написана маленькая комедия «Бедный Федя», посмотреть которую считали для себя обязательным все актеры. Каждое его выступление в самой маленькой роли вызывало восхищение. В советском кино он сразу занял свое место в комедиях, например «Веселые ребята» – кучер катафалка, который танцует и поет вместе с Любовью Орловой:

Тюх, тюх, тюх, тюх,
Разгорелся мой утюг!

Жена Курихина, Леша Неверова, была очень высокая красавица, на голову выше мужа. Она пользовалась невероятным успехом, имела тучи поклонников, вызывая ревность Курихина и заставляя его страдать. Нередко в размолвках супругов принимали участие многие товарищи.

И однажды в поездке случилось непредвиденное.

Какая-то дама неожиданно для Леши Неверовой влюбилась в Федора Николаевича. Возмущенная Неверова запретила Курихину разговаривать с ней. А поклонница подстерегла Курихина на улице и пошла рядом с ним. Неверова увидела их из окна.

Когда Курихин пришел домой, жена стала на него кричать. Крики услышала их соседка, актриса Судейкина. И вдруг ее поразило, что крики внезапно оборвались – и наступила полная тишина. Судейкина решила посмотреть, что происходит, вошла к ним и увидела такую картину: маленький, худенький Курихин лежал на полу, а Неверова, навалившись на него, старалась воткнуть ему в горло кинжал, который ей недавно подарил поклонник-грузин. Курихин с огромным напряжением, двумя руками едва удерживал руку жены, изо всех сил борясь за свою жизнь.

Судейкина подбежала, вырвала у Неверовой кинжал. Та вскочила, бросилась ей на шею и произнесла, рыдая:

– Какие все люди гадкие!

Соперником нашего «Балаганчика» в Ленинграде был Свободный театр. Там всем руководили два лихих, деловых директора. Они избрали путь более легкий, включая в программы ленинградских и московских знаменитостей. Украшением почти каждой программы был Леонид Утесов. Театр находился на Невском. Народу всегда было полно. Иногда там гастролировали и актеры из «Балаганчика».

Однажды произошло так. Мы готовили новую программу. Были заняты все актеры. В главной роли – С. Мартинсон, общий любимец. Идут репетиции. Все хорошо. Николай Васильевич Петров доволен. Но временами Мартинсон исчезает с репетиций слишком быстро.

– Где он, где?

Петров хочет повторить второй акт! А помреж говорит:

– Он торопился, уже ушел.

В Свободном театре тоже анонсы: новая программа. И вот наступил день премьеры. «Балаганчик» сияет, горит огнями. Публика, наша дорогая публика ждет премьеры, собралась, нарядилась, приехала, расселась, гуляет по фойе. Ждет. А мы не начинаем. Почему опаздывают с началом? Нет Мартинсона. Где он – никто не знает. Бедный помреж мечется из дирекции на сцену, за кулисы. Нет! Ни актера, ни каких-либо известий. Через час на сцене

появляется Николай Васильевич, приносит свои извинения и сообщает, что спектакль отменяется.

Что же произошло? Оказывается, С. Мартинсон стал работать и в Свободном театре. Две премьеры совпали в один день. Мартинсон начал спектакль в Свободном театре, никому ничего не сказав, а когда там окончился первый акт и он хотел бежать в «Балаганчик», директор запер его в гримерной и не пустил, боясь, что он опоздает на второй акт. Но Мартинсон все-таки убежал. Однако когда он влетел в «Балаганчик», все уже ушли, а помреж, озверевший от страданий и отмены спектакля, втолкнул его в уборную и запер на замок.

Мартинсон просидел там полтора часа, и премьера в Свободном театре тоже была сорвана. На другой день об этом писали в газете «Театральная жизнь», и все актеры смеялись до слез.

Потом, какое-то время спустя, когда все миновало, я спросила Сережу, которого всегда нежно любила за простоту, талантливость и добродушие:

– Объясни ты мне, на что ты рассчитывал, репетируя одновременно в двух театрах?

Он ответил задумчиво:

– Знаешь, я сам все время думал: как же это получится?..

Я живу в «Англетере», в дешевом номере. Плачу́ сама. Театр, вернее Н. Шатов, не интересуется этим: приехала из Москвы и живет где-то. А я и не знаю, есть у меня какие-нибудь права или нет.

Все актеры «Балаганчика» живут здесь, в Петрограде, у всех дом. А я, как всегда, в невесомости. Я прикреплена корнями только к сцене, к своему месту в программе. Это – точно. Все остальное – зыбко, туманно.

Если деньги есть, иду в ресторан обедать. Здесь, в «Англетере», прекрасная кухня (так говорили) – французская, русская и разная другая. Днем народу мало, но кормят вкусно. Обслуживают только мужчины, и все пожилые или старые, еще прежние петербургские официанты. Знают все тонкости и блюд, и подачи. В ресторане посетителя принимают как долгожданного гостя: усаживают, потчуют, уговаривают, советуют, предлагают. Просто можно любоваться их работой – как в театре.

Если я не спешила на репетиции, то и завтракала в «Англетере». Иногда даже ко мне приходил второй повар, очень важный, молодой еще человек в белейшем колпаке, и приносил мне мое любимое блюдо, какое – я уж теперь не помню, потому что не ела его с тех пор и даже о нем не слыхала.

Вечером другое дело – после театра съезжаются, благоухая «Л’ориганом» Коти, роскошные мужчины и дамы в мехах, в бриллиантах (так и не успела разглядеть эти камни или позавидовать им, как они кончились – и дамы, и бриллианты). А я про эти камни пела в программе «Балаганчика» частушки:

Шесть каратов есть сполна в серьгах у Феклуши,
И для них теперь она тренирует уши

(писал Н. Эрдман).

И еще:

Как вернулась я из бани,
Приставать я стала к Ване:
– Окати да окати
«Л’ориганом» де Коти.

Если денег нет, пойду обедать к Милочке Давидович. Только на обед обязательно будут голубцы. Как ни приду к ним – так голубцы.

Очень хороший человек Милочка Давидович. Она играет на сцене и пишет для программ песенки и маленькие номера. Потом она будет писать все больше, и ее песни военных лет станут петь все солдаты и все певицы. А пока Н.В. Петров зовет ее «Пушкин», и в объявлении на доске репетиций бывает иногда такая приписка от руки: «Николай Васильевич просил, чтобы Пушкин и Рина пришли пораньше».

Однажды был спектакль в Александринке. Петров обещал Давидович оставить ей контрамарку. Вечером она спрашивает на контроле:

– Николай Васильевич оставил место для Давидович?

Смотрели, искали – нет, не оставил. Потом она попросила:

– Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Контролер посмотрел и сказал:

– Тут только один есть пропуск – Пушкину. Это вы?

– Да, это мне. – Давидович получила свой пропуск.

Иногда меня кормит А.Н. Тихонов (Серебров). Это мой старый друг. Он мне кажется глубоким стариком – ему сорок три года. Его друзья – «Серапионовы братья»: М. Зощенко и М. Слонимский. Они добрые, умные, относятся ко мне сердечно, опекают меня, иногда провожают из театра. Никто из нас еще не знает, какие судьбы нас ждут. А пока все работают, печатаются. Бывают победы, бывают и огорчения Я встречаюсь с профессорами Г. и М. Гуковскими, Б. Эйхенбаумом и В. Шкловским. В это время ФЭКСы (Козинцев и Трауберг) готовят спектакль «Внешторг на Эйфелевой башне». Я приглашена ими, репетирую, пою:

Внешторг – вот наш торговый дом!
Внешторг – солидность только в нем!
Торгуют в нем без ширмы,
От Мексики до Бирмы
Весь мир мы здесь ждем!

Идут выставки художника Филонова. Брянцев организует первый детский театр, впоследствии знаменитый ТЮЗ, где начинали Н. Черкасов, Б. Чирков. Композитор Глазунов добывает у А.В. Луначарского еще один паек для пятнадцатилетнего Дмитрия Шостаковича, который работает тапером в кинотеатре «Селект» на Караванной.

Появились другие театры, как наш. Была «Коробочка» (открыл ее Б. Борисов), в Москве – «Павлиний хвост» (организовали актеры театра Корша, среди них Коновалов, Топорков и другие), «Мастфор». Были театрики в Харькове, Ростове и еще несколько, программ их я не видела. Но «Балаганчик» держался крепко.

У меня свое место в программе. Я пою песенки и частушки. Костюм для частушек я придумала сама. Он был довольно дурацкий – сарафан с кринолином и нижними юбками, кофта с пышными рукавами, туфли на высоких каблуках, на голове маленький платочек уголком. Но, наверное, все это было симпатично, потому что успех я имела довольно большой. Говорили, будто бы какая-то часть публики приезжает специально послушать песенки, а после того, как я кончаю петь, сразу уезжает. С. Тимошенко объявлял меня так:

– Это современная актриса, актриса сего дня, актриса речи, рассказчица, мимистка, танцовщица, плясунья, певица – все сие проделывающая с иронически лукавой улыбкой, блеском глаз и мгновенной реакцией на окружающее. Если вы скажете мне, что это Рина Зеленая, я не стану возражать.

О том, какой я была, оказывается, прекрасной, я недавно прочла в одном из старых журналов за 1923 год. А тогда я этого не знала. Но успех свой на сцене считала совершенно

нормальным. Песенку Веры Инбер «Когда горит закат», которую я исполняла в программе, пел весь город.

А Шатов денег все равно не дает. Но теперь зовут на концерты, и мы немного зарабатываем: после спектакля едем выступать, куда пригласят.

Были у меня деньги или нет – все равно я со спектакля ехала на извозчике. Это вам не таратайка московского извозчика (см. старые открытки: высокая ступенька, дурацкие козлы, где сидит извозчик, а за ним продавленное сиденье, кривое или драное). А тут! Широкая коляска, кучер, как царь, сидит на троне. А сиденье и спинка за вами кожаные, стеганые, с пуговками, как на английской мебели. Подножка широкая, низкая, ступить ногой удобно. Сядешь и едешь, как барыня. Мимо тебя идут дома, один краше другого. Слева бесконечные колонны Казанского собора. А там мимо арки Генерального штаба поворачиваешь на Морскую и по ней мимо всего – до площади Исаакия. Тут вам, пожалуйста, и «Англетер», еще ни с чем страшным не связанный, еще долго до несчастья. И может быть, меня ждет Слонимский или Михаил Михайлович Зощенко, и мы будем сидеть и долго разговаривать обо всем прекрасном, что мы еще сможем увидеть и сделать в жизни.

Из окна моего номера близко виден Исаакий. Никогда нельзя перестать любоваться им. Каждый раз от восторга бьется сердце. Ангелы, позеленевшие особой зеленью меди, несутся в вечность. И одна из надписей: «Храм мой храмом молитвы наречется». Когда зимой бывает оттепель, все покрывается слоем нежнейшего инея, и все становится призрачным и необычным: красный мрамор – нежно-розовым, стены – белыми. Даже масштабы как-то меняются и иначе соотносятся друг с другом.

Часто в моем номере стояла большая корзина хризантем. Это было единственным напоминанием о том, что я, значит, имею успех. Горничные на моем этаже гордились ими и поливали их. Я делала вид, что совершенно равнодушна. И даже наедине, входя в номер, строила гримасу: «Подумаешь!»

Как-то поздно ночью, когда я уже вернулась к себе в номер в «Англетере», умылась и легла спать, раздался стук в дверь. Пришел А.Н. Тихонов и сказал:

– Риночка, я вас ждал. Я вам принес, читайте поскорее, – дал мне рукопись и прибавил: – До утра.

Ушел, а я читала и не спала до утра. Это были еще не напечатанные нигде страницы И. Бабеля. Как было невыносимо тяжело читать это одной и ждать утра и лишь потом говорить с друзьями, с теми, кто уже прочел это до меня.

А.Н. Тихонов – друг Алексея Максимовича Горького, издатель «Всемирной литературы», позднее «Круга» и «Академии» (инженер-горняк по профессии). Он дружил с Горьким долгие годы. С его приемным сыном Зиновием исходил пешком всю Италию.

Тихонов и мой добрый друг, друг всей моей жизни. Он оставил замечательно написанную книгу своих воспоминаний. Внешне он был похож на Замятина – писателя, в те годы сразу завоевавшего известность и любовь читателей. Оба одеты с элегантной простотой, не с иголочки, примерно одного роста, с одинаковой манерой негромко говорить и спокойно держаться. Стоя рядом, они совсем не были похожи, но их путали всегда и все. Нередко к Тихонову подходили и продолжали разговор с того места, где кончили с Замятиным. А от Замятина требовали издательского мнения или решения, как от Тихонова. (Замятин потом уехал навсегда.)

Я рассказываю об этом потому, что вспомнила: позднее меня точно так же путали с Ольгой Пыжовой, хотя мы тоже были совсем непохожими. И когда чужой, незнакомый человек подходил ко мне и спрашивал меня о чем-то мне неизвестном очень строго, я сразу ему говорила:

– Имейте в виду, я не Пыжова.

Когда она уехала с Художественным театром на гастроли за границу, мне достался целый ряд ее поклонников. С ней же я познакомилась позднее, когда она вернулась, и полюбила ее навсегда. Ум, талант, юмор – свой, особенный, неповторимый – привлекали к ней. Какая прелестная актриса и как мало ее снимали («Закройщик из Торжка», «Бесприданница» – что еще?). К.С. Станиславский высоко ее ценил. Потом, работая много лет преподавателем, профессором ГИТИСа, она столько ума и сердца отдала студентам, будущим первым актерам национальных республик. Я люблю ее помнить, перебирать ее слова, острые, насмешливые мысли, всегда восхищаться ее мужеством (как она боролась со своими болезнями!), ее верой в театр, в искусство.

В «Балаганчике» все бывало смешно. Даже объявление-афиша о встрече Нового года: «Встреча Нового года 31-го декабря на углу 3-го июля и 25-го октября» (Садовая и Невский были тогда переименованы).

Во время одного из концертов в Свободном театре я пела песенку с Л. Утесовым. Шел какой-то смешанный концерт, народу было страшно много, но сидели зрители только в передней половине зала, а дальше стояли и даже ходили. Сзади шумели, зрители оборачивались, шикали. Потом до нас донеслись какие-то громкие голоса.

В антракте мы узнали, что произошла целая история. Какие-то кретины из числа присутствующих начали задевать дурацкими, оскорбительными репликами Сергея Есенина. Он легко поддавался на такие провокации – начал ругаться. Одни его останавливали, стыдили, другие, наоборот, подзуживали. Короче, началась драка. Это была нэпмановская молодежь. Так они развлекались. На другой день одни могли рассказывать, что заступались за Есенина, другие – что хотели проучить его. Участие в таком скандале – уже реклама для них: глядишь, и их ничтожные имена упомянут в хронике рядом с Есениным.

После концерта все что-то оживленно рассказывали, обсуждали, а я почему-то отнеслась к инциденту спокойно. Только жалко было, что опять имя поэта связывают с каким-то скандалом. Сергея Есенина я видела несколько раз. Разговаривать не приходилось, но один раз слушала, когда он читал. И всегда с отчаянием воспринимала рассказы о его неудачах, восторгалась его стихами и боялась за его судьбу. Жалела его издали.

И вот на другой день после того концерта в Свободном театре я сидела в своем «Англетере». В дверь постучали. Вошел Есенин. Я этого не ожидала. А он пришел просить у меня прощения, будто там, в зале, все произошло из-за него. Просит простить. Я его утешала. Он меня поцеловал и был, по-моему, рад, что я не сердилась. Он побыл недолго, и я его не удерживала, но потом болела душа: один раз видела его так близко, могла говорить, слушать. А разговор был ни о чем и ни за чем. Все всегда постоянно обсуждали: как так? почему? отчего? – всё о нем, о его женитьбе, делах, поведении. А он вот так. И всё.

…А когда в 1923 году я ехала по Невскому от «Балаганчика» до «Англетера» на извозчике, могла ли я думать, что вот тут, за углом, живет еще незнакомый мне мой будущий друг? Проезжая спокойно мимо Большой Конюшенной, я не предполагала, что эта улица станет улицей Желябова, и не знала, что там, в Волынском переулке, живет человек, с которым я встречусь через много лет на другом конце света, в Абхазии, в доме отдыха «Синоп», и что журналист Ю. Ганф скажет мне:

– Вот, Риночка, познакомьтесь. Это архитектор Котэ Топуридзе, мой друг из Ленинграда, – и что после этого я сорок лет буду женой этого Котэ Топуридзе, буду жить с ним всегда рядом и от этого буду самым счастливым человеком на свете…

Вообще поразительно, как судьба строит жизненные сценарии. Когда мы уже долго жили вместе с Константином Тихоновичем, выяснилось, что и в Ленинграде, и в Москве все друзья, самые близкие, у нас были общие, а мы с ним ни у кого ни разу не встретились. Видимо, когда один из нас приходил в какой-то дом, другой ушел из него за пять минут до этого. И мой дорогой Е. Шварц был любимым другом К.Т.Т. И Б.М. Эйхенбаум поил меня

чаем, а когда я уходила, очевидно, встречал Константина Тихоновича. Так я сужу потому, что мы нигде не столкнулись, даже в дверях. И Ираклий Андроников, и профессора Котэ – и Руднев, и Щуко – все они были нашими общими друзьями. Благодарю тебя, судьба, за то, что мы все-таки встретились хоть потом.

Жизнь наша была бешеная, наполненная работой. Спать я вообще считала преступлением. После театра – клуб, встречи, зрелища. К.Т.Т. (так я буду называть Константина Тихоновича на страницах этой книги) не возражал, но ему приходилось работать и ночами, как всем архитекторам, – проекты, сдачи, подачи, утверждения.

Я выясняла довольно долго, что это за человек. Потом я поняла, что он не человек, а явление особого рода. Несмотря на его ужасный характер, я называла Константина Тихоновича «мой ангел», и домработница мне говорила:

– Твой ангел звонил. У него поздно будет заседание. Чтобы ты никуда не уходила. Ждала.

Я рычала от ярости, но ждала. Идя с репетиции, я боялась, что в самом деле, войдя в комнату, увижу край полотняного одеяния ангела, вылетающего в балконную дверь, и его босые белые, как у скульптуры, ноги с ровными пальцами.

И вот я рассказываю, как трудно все было. У нас долго не было жилья, оба мы были одинаково не ушлыми. (Как-то шли мы с Ростиславом Яновичем Пляттом, и он сказал мне: «Риночка, почему мы с вами такие не дошлые и не ушлые?»)

Мой ангел, судя по речам его, яростно-гневным или ангельски-добрым, был из тех, кто участвовал в восстании ангелов, описанном Анатолем Франсом. Никогда нельзя было придумать, догадаться, что и как он скажет.

Иногда появляются люди, у которых откуда-то возникают деньги. Некоторые из них хотят покупать старинные вещи для украшения своей жизни. Один такой модный человек в мебельном магазине попросил К.Т.Т. посмотреть выбранный им для себя стол:

– Посмотрите, пожалуйста, как вы думаете, – говорит он с видом знатока, – это Павел или Александр Первый?

К.Т.Т. взглянул на стол и сказал:

– По-моему, это поздний Николай Второй.

Он не хотел высмеять человека-невежду, он про сто объяснил, что и как. К.Т.Т. никогда не говорил ничего остроумного нарочно, специально. Но его реплики бывали так неожиданны и смешны, что долго пересказывались друзьями.

Как-то он пришел со стройки стадиона в Лужниках с красным, обожженным солнцем лицом. Я немедленно заставила его сесть и стала мазать воспаленную кожу кремом. Физиономия его исказилась мукой, и, зажмурив глаза и сжав зубы, как под пыткой, он процедил:

– Имей в виду, я все равно никого не выдам.

Если сестра Котэ, приготовив завтрак, после долгого ожидания кричала ему:

– Ты опаздываешь! Скоро ты или нет? – он выходил из ванной совершенно голый, босиком, с полотенцем и, шлепая мокрыми ногами, говорил тихо, спокойно:

– Практически я совершенно готов.

Театр сатиры

Я еще играла в «Балаганчике», а уже из Москвы шла телеграмма, и в ней было написано, что меня приглашают в новый театр – Театр сатиры, который создается в столице. Это было впервые, что меня приглашали. Вот, наконец-то! А то я всегда сама являлась: «Здравствуйте, я приехала к вам работать!»

Я снова в Москве. В те годы театры Москвы и Ленинграда были разобщены больше, чем сегодня театры Минска и Караганды: пока весть о новой премьере, удаче или неудаче московского театра доходила до Ленинграда, спектакль мог быть вообще снят с репертуара. Встретившись в гостинице «Европейская» (Ленинград), или в московском «Национале», или на гастролях, актеры набрасывались друг на друга, как инопланетяне:

– Что у вас?

– А как у вас?

– Неужели? Ай-яй-яй!!

И вот в Москве первый торжественный сбор первой труппы Театра сатиры. Великолепный состав: Поль, Китаев, Корф, Тусузов, Рудин, Милютина, Курихин, Зенин, Волков, Петкер, Дегтярева – и это еще не все. Режиссеры – Типот, Гутман и другие.

Начинается новая работа, новая жизнь. Все опять сначала, все заново: новые люди, новые порядки. И снова надо добиваться успеха, ролей, новых друзей. Рождался московский театр обозрений – сатирический, критический, талантливо придуманный. Москва приняла новый театр с большим интересом и вниманием. Шел первый спектакль – «Москва с точки зрения». Семья провинциалов приезжает в Москву и весь спектакль путешествует по городу, встречаясь с самыми разными людьми, учреждениями, событиями, попадая в самую разную обстановку, приключения, перипетии.

В одной остропародийной сцене, отыскивая приют для ночлега, провинциалы попадают в гротесково уплотненную квартиру. На сцене – небольшая комната, где живет множество квартирантов, и каждый занят своими делами. По очереди, выхваченные лучом света, идут сценки.

Вот, например, на переднем плане большой платяной шкаф. В то время как остальная часть сцены погружается в темноту, раскрываются настежь дверцы ярко освещенного изнутри шкафа. Там стоит стол, по бокам два стула, над столом лампочка с оранжевым шелковым абажуром, а за столом молодая пара пьет чай. Они довольны и счастливы и, склонившись головами друг к другу, под гитару поют старинный русский романс:

Как хорошо, как хорошо,
Как хорошо с тобою мне быть!
В очи глядеть, любить и млеть,
И в поцелуе, ах! замереть!

Дверцы шкафа закрываются, зато выдвигается его длинный нижний ящик. Зрители видят в нем лежащего на животе студента, который, подперев обеими руками голову, вслух зубрит сопротивление материалов. На другой стороне сцены сверху, с потолка, свисает трапеция, на которой днем, возможно, упражняются жильцы, а сейчас, удобно скорчившись, устроился еще один молодой квартирант. Он читает, очевидно, что-то очень интересное и время от времени громко хохочет.

Успех этого спектакля и вообще театра был огромным – настоящее событие. И форма, и темы удивляли зрителя, поражали совершенно неожиданным смелым решением злободневных бытовых вопросов.

Я уже не пела в программе, а носилась по всему спектаклю от начала до конца как обозреватель, младшая дочка этой семьи, не думая о себе и только радуясь, что театр и спектакль нравятся Москве. Многие актеры чувствовали так же. Но некоторые были прозорливее и старались даже в обозрении иметь какой-то сольный номер, какой-то персональный успех. И, разумеется, это было очень умно и важно для них.

Обозрение шло ежедневно. В это же время репетировался новый спектакль, по-моему, это было обозрение «Семь лет без взаимности» – об эмигрантах, уехавших из Союза и нигде не находящих ни пристанища, ни покоя.

Обозрение «Мишка, верти!» опять восхитило Москву. Это была первая пародия на тему кино. (Боже! Сколько же раз это было потом!) Киномеханик ошибочно пускал ленту задом наперед. Все шло обратным ходом: доходило чуть ли не до того, что на улицу выползал городовой. Но тут механик Мишка замечал ошибку и пускал ленту в нужном направлении.

Одно из обозрений называлось «Насчет любви». Оно охватывало тему любви всесторонне, как научное исследование. Отдельные герои были командированы в Москву, чтобы собрать данные для изучения этого вопроса. Командировочные удостоверения с печатью, которые, сидя за канцелярским столом, выдавал командированным товарищ Петров, персонажами не читались, а распевались в самых разных ритмах и манерах. Балерина пела:

Дано сие, ну и так далее…
Гражданке Миа-Март Наталии
С тем, чтобы в разных деревнях
По всей Саратовской губернии

Она на свой бы риск и страх
Открыла студии вечерние
И создавала кабинеты
Аналитичного балета.

Служащий телеграфа оперным голосом выводил:

Удостоверение
Гражданину Зе
На предмет хождения
По любой стезе.

Основание:
Его желание.

Толстая молочница приплясывала под частушечный мотив и пела:

Лизавете Алексевне
По фамильи Фомина
В том, что на своей деревне
Смычку проведет она.

Выдана зампомнарпитом
Для прекрасных ваших глаз.
С новым счастьем, с новым бытом,
С Новым годом вас!

И еще, и еще, и наконец все хором:

Итак, клянемся, итак, клянемся,
Что за Петровым мы пойдем!
И мы вернемся, и мы вернемся
Иль на щите, иль со щитом!

Перед зрителями проходила пара старых супругов, балерина, молодые влюбленные, ресторанная любовь. Звучали высказывания о любви самых разных людей, например старого профессора. Деревенский старик тоже был направлен в Москву, чтобы узнать, как на этот вопрос смотрит столица (старика замечательно играл Китаев).

Так продолжалась наша работа в молодом Театре сатиры – долго и увлеченно. Было много музыкальных, танцевальных номеров. Музыку для спектаклей писал композитор Ю. Юргенсон. Но уже существовал где-то в природе И.О. Дунаевский, который вот-вот должен был появиться на пороге театрального и кинобытия. Новые авторы уже, вероятно, обдумывали свои произведения, уже ощущали новые возможности воплощения новых тем. Но это произошло много времени спустя после того, как я покинула стены моего любимого Театра сатиры. Театр переходил на новые рельсы. Произошла полная перемена жанра, направления, стиля, режиссуры. Появились «Сто четырнадцатая статья» и «Склока» В. Ардова и Л. Никулина, «Квадратура круга» В. Катаева. С успехом шли «Лира напрокат», «Тарарановщина», «Мелкие козыри», «Чужой ребенок» В. Шкваркина, который обошел все города Союза.

Роль Мани в «Чужом ребенке» в Театре сатиры играла Дина Нурм – блестящая комедийная актриса, неподражаемая, открывшая свои, свежие приемы исполнения роли новой, советской героини. Актеры московских театров бегали смотреть Д. Нурм в этой роли по нескольку раз.

В дальнейшем она стала одной из лучших актрис Ленинградского театра комедии, которым руководил Н.П. Акимов.

В Театре сатиры была у меня роль киноманки, нэпмановской дочки, взрослой девчонки.

Вылетев на сцену, нарядная, в шикарном белом пальто-клеш с большими карманами, в высоких белых модных ботинках, она сообщала зрителям, что ничего не хочет делать, а любит только ходить в кино и смотреть фильмы (в кино действительно было что посмотреть – каждую неделю шли новые картины, наши и заграничные).

Выучить эту роль мне было довольно трудно: никакой логической связи между словами не было – просто бесконечный перечень названий фильмов, которые девица уже успела посмотреть. Правда, все названия были зарифмованы (это сделал режиссер Виктор Типот с присущим ему мастерством и остроумием).

Актриса должна была обладать прекрасной, четкой дикцией и, кроме того, предельно напрягать голос, форсировать звук (микрофонов, повторяю, тогда не было), чтобы зритель и в последнем ряду балкона услышал каждое слово и оценил точность названий и остроумие рифм. Говорить надо было все подряд, без единой паузы, не переводя дыхания и к тому же все время ускоряя ритм:

«Дело Блеро»,
«Знак Зеро»,
«Сон Аллана»,
«Два капитана»,

«Капризы мисс Мей»,
«Остров погибших кораблей»,
«Аэлита»,
«Розитта»,
«Немой звонарь»,
«Капитан Январь»,
«Палачи»,
«Молчи, грусть, молчи!»,
«Львы Венеции»,
«Борджия Лукреция»,
«Анна Болейн»,
«Серая тень»,
«Бланшетта»,
«Вокруг света»,
«Голубая Ницца»,
«Индийская гробница»,
«Роковая пучина»,
«Королева Кристина»,
«Крытый фургон»,
«Доротея Вернон»…

Во время этого монолога я металась по авансцене как угорелая, обращаясь то к одному, то к другому ряду, то к одному, то к другому человеку, как бы призывая зрителей оценить мою память и разделить мой восторг. А они отвечали мне улыбками, кивали головами – мы были с ними заодно.

Наконец, закончив свой ор, я под гром аплодисментов, с билетом в руках пускалась бежать за кулисы, чтобы не опоздать на очередной сеанс. Но вдруг неожиданно возвращалась и очень серьезно, негромко сообщала персонально зрителю второго ряда, как бы ему одному, самое важное, чего нельзя упустить:

– Да! Еще вот что:
«Нападение на Виргинскую почту!» —

и только после этого убегала окончательно.

В Театре сатиры был маленький оркестр. Один из оркестрантов, И.А. Иткис, пожилой человек, отличался тем, что обо всем узнавал позднее всех. Актеры часто выдумывали о нем, что было и чего не было. Другой музыкант, молодой скрипач Яша, рассказывал такую историю. Шли они вместе после спектакля. Вечер был ясный. Над Москвой сияли звезды. Яша остановился, посмотрел на небо и сказал:

– Как все-таки странно себе представить, что все это мчится в бесконечном пространстве и мы вечно несемся куда-то.

И.А. Иткис тоже остановился и спросил строго:

– Что вы хотите этим сказать, Яша?

Тот ответил, что имеет в виду движение Земли в пространстве. Старый Иткис потребовал более подробного и точного объяснения. Яша разъяснил ему, что он имеет в виду нашу Галактику: Земля вращается вокруг Солнца, Луна – вокруг Земли и т. д. Спутник выслушал его внимательно. Они пошли дальше, и Исаак Абрамович сказал:

– Вы знаете, Яшенька, я теперь всегда буду ходить домой вместе с вами: от вас всегда услышишь что-нибудь новенькое.

Яша остановился и воскликнул:
– Вы шутите, Исаак Абрамович! Ну неужели вы этого не знали?
– Откуда? – отвечал тот. – Я же всю жизнь жил в Киеве.

Неинтересный рассказ

Это будет совсем неинтересный рассказ про то, как у нас никогда ничего не было. Я имею в виду молодых актрис вроде меня. Ни обуви, ни шляп, ни пальто. Но надо отдать справедливость некоторым умным особам. Они сообразили сразу, что тут нечего ждать и рассусоливать, а надо действовать. И они добывали одежду и туфли, доставали шапки и юбки, и на них всегда было даже что-то надето. Я только смотрела и удивлялась. Завидовала иногда. Но дальше этого у меня дело не шло. Я так и не научилась за все годы жизни узнавать, где, что и когда надо покупать, доставать.

Но моду я признаю немедленно. То, что вчера мне казалось красивым, сегодня для меня не существует, если прошла мода. То, что мне сегодня кажется безобразным, я признаю прекрасным немедленно, если мода сделает неожиданный поворот. Я не борюсь с модой: это так же бессмысленно, как пытаться бороться с приливами и отливами океана (мнение нашей легкой промышленности, к сожалению, не всегда совпадает с моим). Это не значит, что я надену новую моду. Во-первых, я никогда ничего не могу купить (то есть искать, добывать, доставать). А во-вторых, признавая моду всецело, я не обязательно применяю ее к себе лично. Когда, к примеру, появилась мода «мини», я, любуясь ею на девчонках, не могла воспользоваться поворотом моды. Конечно, отдельные особы, просто безжалостно относясь к прохожим, следовали этой моде, вызывая порой некоторое отвращение.

А вообще-то все сандалеты, которые были мне так нужны и которые носили все продавщицы мороженого, все высокие сапожки на каждой второй прохожей для меня так и оставались мечтой. Мода проходила, и я забывала о несбывшейся мечте. Но я вам предсказываю, дорогие женщины: настанут времена, когда вы войдете в любой мосторг и самый красивый продавец подойдет к вам и учтиво спросит, что бы вы хотели примерить, а на полках будут стоять самые модные и прекрасные обуви всех фасонов, цветов и размеров. Вот это будет да!

И вы меня, пожалуйста, не жалейте, хотя мне столько раз было себя жалко. Можно смело сказать – вот я помру, и никто никогда не узнает, какой у меня был прекрасный вкус: мне всегда доставалось что-то, что было кому-нибудь мало или велико.

Мое первое пальто в 1922 году было, правда, сшито для меня. Кто-то подарил мне серое солдатское одеяло. Я отдала его шить какому-то мастеру, уж не помню как. Но вот я явилась в «Нерыдае» в новом пальто. Потом были стихи В. Типота:

Пальто демисезонное —
Последний московский шик.
Косые карманы,
Шалью воротник.
Внутри – Рина Зеленая.

Я даже снялась в этом пальто у уличного фотографа.

Еще однажды, через много лет, я купила новые туфли. Они были лаковые. Я поставила туфли на стол, чтобы видеть их, еще лежа в постели, и не могла на них налюбоваться. Кому-то они были малы и достались мне. Это было в Ялте. Утром я пошла похвастаться на набережную, где в гостинице жили друзья-знакомые – Н. Эрдман, Н. Асеев и другие. Николай Николаевич был очень доволен моей обновкой, а то на мне до этого были какие-то желтые безобразные полуботинки, и написал такие стихи:

Рина Зеленая,
В море соленая,

Солнцем паленая,
Славься вовек!

В глазках у Риночки
Нет ни сориночки,
Фасонные ботиночки,
Вот – человек!

Дом печати

Меня пригласили принять участие в организации совершенно нового театра при Доме печати. Журналисты, писатели-сатирики хотели попробовать создать свой театр, чтобы не только писать критические рецензии и ругать какие-то спектакли, но помогать театру своим мастерством, талантом, советами. Поначалу предполагалось, что театром будет руководить художественный совет, куда помимо главного режиссера В. Типота, художника К. Зданевича и композитора М. Блантера войдут еще те, кто действительно заинтересуется работой театра. На деле хозяином театра было правление Дома: оно составляло сметы, отвечало за план и т. д.

Форма спектаклей – обозрение, самая доходчивая, острая, действенная по возможностям и театральным приемам. Короткие сценки, песни, пародии, эстрадные находки позволяли обрушивать на зрителей неожиданности и сюрпризы. Новый театр должен был как бы поднять знамя театра сатирических обозрений, которое оставил Театр сатиры, перейдя к постановкам комедий. Состав труппы был случайным: приходили актеры из разных студий и театров. Опять все сначала. Ничего нет. Надо все придумывать снова. Крохотный зал. Малюсенькая сцена. Денег мало. Времени тоже мало.

Новый театр – событие для театральной Москвы. Зрители – все московские писатели, время – конец 20-х годов.

Трудно было придумать новые темы, новые приемы, которыми театр должен был заявить о себе. Актеры самые разные, имен нет. Но они появятся очень скоро и станут любимцами Москвы. Это Тенин, Миров, Панова, Данильский (старый артист оперетты), Моллер, певица Кетат (которая из драматического актера Погодина сделала исполнителя песен, записанных на знаменитые пластинки). Так как актеров немного, каждый играет несколько ролей. Конечно, все еще мало знакомы друг с другом. Но работают изо всех сил.

Название первого спектакля неброское – «Программа № 1». Оно подчеркивало близость театра к журнальной форме. У меня неудача: ничего в первой программе пока нет. Авторы обещают. А время идет. Надо думать, надо что-то изобрести во что бы то ни стало. Ломаю голову. Хорошо было в Театре сатиры: все годы во всех программах уверенность, что обязательно будет роль – ну получше, ну похуже, но будет. А теперь?! Первая программа нового театра – а я?!

Я, как спортсмен, как игрок команды, вышедшей на площадку, не могу оставить свое место, не могу выйти из игры. Наконец додумываю номер: беру запетую до дыр уличную песенку, которая звучит по всем закоулкам Москвы, и прошу В. Масса – он один из авторов программы – помочь мне с текстом. Я готовлю песенку, показываю ее совету, и меня включают в программу. А я и забыла уже, что умею петь: за все время в Театре сатиры не пела ни разу! И я учу, разучиваю песенку.

И вот премьера. Я в костюме беспризорника – в кепчонке и брюках, снятых с соседского мальчишки, – стою на сцене… Сейчас только помню, что в песенке речь шла про активиста Сергея и его подругу Марусю, которая красила губки и носила «колени ниже юбки». Сергей старался преодолеть ее мещанские вкусы, но безуспешно. Это было злободневно, своевременно. В финале я цыкала слюной, как уличные мальчишки, через всю сцену и, дробью стуча каблуками, уходила за кулисы. Все было на месте. Бисировала песенку каждый вечер. Что называется, номер попал в точку.

«Программа № 1» (авторы В. Типот, А. Арго, В. Масс, В. Катаев) открывалась торжественно-шутливым, сатирическим молебном. Первая фраза его:

«Господи, помоги благополучно начати

Театр при Доме печати!»

Конферанс вели два клоуна. Автором одного из номеров (сатира на приспособленца) был В. Катаев, пьеска называлась «Емельян Черноземный» (играл Б. Тенин).

А дальше шла одна программа за другой. В одной из них впервые Л. Миров стал конферировать вдвоем с партнером-учеником. Сегодня это никому не ново. Тогда эта режиссерская и авторская выдумка В. Типота была абсолютно неожиданной.

К летнему сезону готовилось обозрение «С комфортом по курортам». С ним театр отправился в гастроли по Украине.

Бывали и неудачи. Так, например, попытка осовременить Мольера вызвала ругань в прессе, хотя делал это Владимир Масс – мастер из мастеров. Заодно ругали Мольера.

Маленький зал театра Дома печати заполнялся всегда до отказа. Люди стояли и у стен, и за открытыми дверями. Здесь бывала вся литературная Москва: писатели, поэты, газетчики – и, конечно, все актеры. Театр пользовался симпатией. Единение зала и сцены было полным: содержание спектаклей – темы дня, острые вопросы литературы и театра. Подчас люди, о которых шел разговор на сцене, сидели тут же в зале.

Сегодня это зал Дома журналистов. Каждый раз, когда я попадаю туда (сижу в президиуме, чьи-то юбилеи, вечера журналов), у меня сжимается сердце – столько здесь было пережито и радостного, и тяжелого. И больше нет и не будет никогда той атмосферы, тех сумасшедших людей, которые, забыв все на свете, могли так работать и биться за свой театр.

«Баня»

Однажды нас, актеров, пригласили назавтра прийти в Дом печати днем. Сказали, что В. Маяковский будет читать писателям новую пьесу «Баня». И многие из нас пришли, и сидели в зале, и слушали его.

Он вышел, заполнив собою чуть не всю крохотную сцену, по которой мы все вместе свободно бегали каждый день (и еще оставалось место для декораций или оркестра). На сцене стол и стул. Владимир Владимирович снял пиджак, повесил его на спинку стула и, оставшись в своей знаменитой свежевымытой сорочке, подошел к столу, на котором стояли графин и стакан, вынул из кармана блеснувший белизной носовой платок, как у фокусника, развернувшийся в его руке, протер стакан и поглядел через него на свет. Из зала очень противный, жирный женский голос произнес громко:

– Носовым платком – так чище не будет!

– Смотря чьим, – спокойно и мгновенно ответил Маяковский, уже поставив стакан и пряча платок в карман.

Читал он удивительно. Успех был большой и ожиданный.

В.В. Маяковский смотрел спектакли нашего театра очень редко. В одной из программ был номер «Московские куплеты». Пели Б. Тенин, я и Л. Миров. Зал смеялся и аплодировал. Был там такой куплет:

Тротуар дрожит московский,
Шум и гром кругом идет.
То проходит Маяковский,
Себе памятник несет.

Однажды нам показалось, что Владимир Владимирович на это улыбнулся из кресла у самой двери в третьем ряду.

И вот как случилось потом.

В одиннадцать часов мы играли утренник – только концертные номера программы – в каком-то клубе.

Когда мы поднимались по ступенькам на сцену и Б. Тенин уже открыл дверь туда, кто-то схватил меня и Мирова за руки и успел в отчаянии громко шепнуть, почти крикнуть:

– Пусть Тенин не поет куплет о Маяковском! Ни в коем случае!

Но Тенин был уже на сцене и ничего не слышал. Мы с Львом Борисовичем вылетели на сцену. Уже шло музыкальное вступление. Мы быстро заняли свои места, начали петь куплеты и танцевать. И Б. Тенин тоже спел свой куплет о Маяковском.

А Маяковского уже не было в живых.

Мы узнали об этом, когда сошли со сцены. Какое горе! Как страшно! И тогда, и сегодня, и во веки веков! Было 14 апреля 1930 года.

Ужас обуял всех. Казалось, надо было бежать, что-то делать, кричать, звать на помощь. Казалось, все начнет рушиться: сейчас будут падать дома и деревья. Но все оставалось на месте. Даже светило солнце.

В старом моем дневнике записаны какие-то строки: «Как будто из жизни человечества вырвали силой что-то огромное, бесконечно нужное, важное для всех: и для друзей, и для врагов. А я кто? Никто. Я современник. И мне невыносимо страшно».

…Стояла огромная толпа на улице Воровского, где Союз писателей. Ворота закрыты. Дежурит милиция. Проходят люди по пропускам. Я стояла и ждала, не знаю чего. Потом кто-то взял меня за руку и повел по дороге мимо круглой клумбы к дому и по лестнице.

Я вошла в зал и стала плакать. Сначала у гроба, потом забилась в угол, там, где была маленькая сцена, и больше ничего не видела. Я плакала все время. Вместо того чтобы слушать, всех запомнить, запомнить все слова и как все было, я сидела лицом к стене и плакала страшно долго.

Потом все прощались и выходили на улицу. Садились в машины, ехали по всей Москве.

Я стояла в грузовике, держась за крышу кабины. Иногда, оглядываясь, видела бесконечную вереницу машин на мостовой и толпы людей на тротуарах. Видела это сквозь слезы. Казалось, что слез больше нет, а они все лились. И мне казалось, что плакать необходимо, что стыдно не плакать все время. И потом я удивилась, когда слезы перестали литься. Было стыдно, что они кончились: будто ты согласился с тем, что произошло, с тем, что так может быть. И примирился с этим.

За большим столом

«Темные» заседания (обсуждение тем будущего номера) в сатирических журналах всегда меня интересовали, и я обязательно приходила, когда меня приглашали. Был такой обычай звать на «темные» заседания близких журналу людей – актеров, писателей. В «Чудаке» собирались Д. Бедный, В. Ардов, А. Бухов (еще «сатириконец»), А. Арго, И. Ильф и Е. Петров, А. Гарри, Е. Зозуля, К. Ротов, Ю. Ганф, М. Черемных, Э. Кроткий, Б. Ефимов и мы вместе с ними.

За огромным столом сидят те, кто обязан бывать, кто бывает всегда и кто приходит иногда. Шум, разговоры, смех. Хотя заседание как будто уже началось, но Демьян Бедный дочитывает последние строчки новой частушки. Кто-то читает басню о ЦЕБРИЗе. Это было такое время, когда изобретателям приходилось долго обивать пороги ЦЕБРИЗа (Центральное бюро изобретений), чтобы устроить на службу людям свое изобретение. Нередко проходили месяцы, годы, пока дело могло тронуться с места. А басня была такая:

В ЦЕБРИЗ (конечно, это сон)
Явился Томас Эдисон.
И спрашивает Томас:
«Начальство здесь иль дома-с?»

Швейцар (конечно, это сон)
Воскликнул: «Томас Эдисон?!
Тот самый Томас Альвас?
Мне, – говорит он, – жаль вас.

Для нас, конечно, это честь —
У вас новинку приобресть.
Но вы представьте, Томас,
Сегодня – нет приема-с!»

Знаменитый «темач» Глушков показывает соседям список последних сочиненных им тем для рисунков. (Это был великий выдумщик, его темы всегда принимались и безошибочно попадали на страницы журнала.) Гул голосов все усиливается. Но вот редактор «Чудака» Михаил Кольцов вдруг бросает какую-нибудь реплику или же задает кому-то через стол самый невинный вопрос. Например: «Что это, у вас, кажется, новый костюм?» И все мгновенно реагируют, раздаются десятки ответов, новых вопросов, соображений, острот. Разговаривают о разном, уже давно забыли про костюм. Начинаются споры, ничего нельзя разобрать. Кольцов сидит молча и то ли слушает, то ли нет. Потом вдруг на чьей-то фразе он, постучав карандашом, говорит:

– Стоп! – И все постепенно стихает.

А он спрашивает кого-то:

– Вы что сейчас сказали?

Тот повторяет.

– Вот, – говорит Кольцов, обращаясь к рядом сидящему секретарю, – это запишите. Дайте разработать автору такому-то и художнику такому-то.

А за столом разговоры и шум опять нарастают до крика. И снова «Стоп!» главного редактора, поймавшего чье-то неожиданное предложение. Так он выуживает из этого шума

тему за темой, рассказ за рассказом – все то, что необходимо для очередного номера, для сегодняшнего дня.

Когда в Москве проходил Международный шахматный турнир, переживаний, разговоров, острот и эпиграмм на эту тему было предостаточно. Вот две шутки:

Вера Менчик,
Бедный птенчик,
Потеряла раз ферзя.
А ферзя терять нельзя!

Сказал, по-моему, С. Кирсанов.

И вторая:

Дочь чеха Вера
Чуть-чуть не обыграла Чеховера.
Но Чеховер придумал тут разменчик,
И проиграла Вера Менчик.

Кто написал, не знаю, за точность текста не ручаюсь.

Позднее, после войны, обычай «темных» заседаний с приглашенными друзьями-сатириками продолжал жить в «Крокодиле». После войны состав присутствующих сильно поредел и изменился. Но каждый раз старые друзья, и новые тоже, встречались здесь радостно, рассказывали друг другу новости, сыпали остротами, передавали из уст в уста эпиграммы. Когда журналист М. Левидов написал пьесу, появилась эпиграмма – по-моему, В. Типота:

Левидов от ума большоу
Стал подражать Бернарду Шоу.
Но то, что хорошо у Шоу,
То у других нехорошоу.

Я припоминаю, как однажды меня пригласили на обсуждение готового материала очередного номера «Крокодила».

В комнате редактора уже много народу: Лагин, Весенин, Абрамов, Ленч, Ардов, который за эти короткие минуты уже успел наострить и рассказать много смешного. Это происходит после войны, когда только что отменили карточки. Входит художник Ганф – остроумнейший человек в Москве, блестящий карикатурист. Здоровается с кем-то, оглядывает присутствующих, видит Ардова и ласково спрашивает:

– Ну, что, по-моему, судя по довольному выражению лица Ардова, он уже успел всех охватить своим хамством?

Собравшихся приглашают в зал. Переговариваясь, они рассаживаются. Одним из первых читает начало своего нового рассказа Виктор Ардов. Там идут такие строки (привожу по памяти): «Как человек аккуратный, Николай Авдеевич достал из кармана картонную обложку, в которой носил хлебные карточки, и протянул их продавщице. Она внимательно посмотрела на него…» В это время в тишине раздается тихий, деликатный голос:

– Витенька, а ведь карточки позавчера отменили!

Кое-кто приглушенно фыркает. И опять слышится очень ехидный голос Ганфа:

– Витенька, а все-таки над рассказом смеются.

Вот так всегда остро и неожиданно создавались страницы сатирических журналов.

О юморе

В детстве, когда мне приходилось слышать, как взрослые разговаривали со своими друзьями (я имею в виду старшую сестру Мусю и брата Ивана), я быстро усваивала их шутки. Например, девочки-подруги, если одна из них или мальчик уступали место, передавали или подавали книгу, благодарили так:

– Тронута, двинута, перевернута, опрокинута!

Мне казалось это так смешно, и я старалась повторить это своим маленьким товарищам. Они не понимали, а я воображала, какая я взрослая – понимаю.

Если брат читал, а ему загораживали свет от лампы или окна, он говорил:

– Исчезни! Не всякая пустота прозрачна!

Меня это прямо приводило в восторг: как это придумано! Конечно, пустота должна быть прозрачна, например графин, а вот нет – я загораживаю ему свет! И я скорее исчезала, а Иван продолжал читать.

Но как-то раз так случилось с сестрой Мусей, и он повторил эту фразу. Я была довольна: сейчас она скорее отойдет. А Мария осталась на месте и вдруг произнесла:

– Не всякая острота удачна!

Как здорово! Так сумела ответить! Но Ваня поднял голову и сказал ей:

– Для такой пустоты хватит этой остроты!

Сестра замолчала, а я ликовала и радовалась, что Иван так прекрасно, смешно придумал ответить и победил. А потом я одна, сама себе, повторяла:

– Не всякая пустота прозрачна!

– Не всякая острота удачна!

– Для такой пустоты хватит этой остроты!

У нас в последние годы юмор стал модным. Появились даже специальные рубрики в журналах. «Чувству юмора» посвящены целые статьи, доклады. На каждом шагу можно услышать о чувстве юмора. Доходит до ужаса: продавщица, вешая огурцы, разговаривает со старым человеком очень грубо. Гражданин спрашивает:

– Почему вы так неуважительно разговариваете с покупателем?

Продавщица смело и независимо говорит ему:

– А в чем дело? Я ведь вас, кажется, не обзываю?! У вас нету чувства юмора.

Ну вот. У меня это чувство есть. И моя работа всю жизнь посвящена юмору. Часто и в жизни приходилось прибегать к нему, чтобы не заплакать. Всю нашу жизнь мы воспринимали юмор, не обсуждая, надо ли иметь чувство юмора. Просто оно было с нами постоянно. Были люди, чьи шутки и остроты повторялись, передавались, вызывая смех или улыбки. Бывал даже «гамбургский счет» – кто самый остроумный в этом году. Меня всегда восхищали не присяжные остроумцы, прославленные остряки, от которых ты слышишь заготовленные остроты целыми обоймами. Прельщало и удивляло тонкое понимание смешного, блеск неожиданных поворотов мысли. Это была атмосфера нашей жизни. Мы работали, дружили, ценили острое слово, смеялись друг над другом и зло и добродушно, не забывая высмеять себя в первую очередь, ну – во вторую. Чувство юмора было дано нам как зрение, слух, осязание.

Были Н. Эрдман, М. Вольпин, Ю. Ганф, Д. Гутман, В. Типот, И. Ильф, Е. Петров, Е. Шварц, В. Масс. Еще появился Никита Богословский, который был моложе всех нас, тоже молодых. Он обладал удивительной легкостью, быстротой реакции в разговоре. В него влюблялись все – мужчины и дамы. Даже А.Н. Тихонов, человек солидный, дружил с ним, вызывая нашу ревность (ревновали Тихонова). А потом остроумие стало его второй профессией, правда, именно тогда в остротах появилось некоторое количество брака. Притом

Богословский всегда оставался прекрасным композитором-песенником. Для нашего театра им была написана прелестная маленькая опера «Усы». Других его опер я не знаю. Когда-то Сергей Эйзенштейн сказал:

– Если считать, что каждый человек похож на какого-нибудь зверя, то Богословский, по-моему, похож на горжетку.

Так все годы нашей жизни мы, те, кого я упомянула, и многие-многие другие шли рядом. Мы – совсем разные, но были все интересны друг другу. И юмор у каждого был какой-то особый, свой. У Виктора Ардова всегда были готовы целые серии острот. Вы не успевали сказать ни слова, а на вас сыпался град ударов, как у отличного боксера: удар, удар, хук справа – и вы в нокауте. При этом В. Ардов изучал природу смешного, коллекционировал юмор, знал наизусть страницы Ф. Горбунова, Н. Тэффи, А. Аверченко и всегда мог рассказать что-то, чего не знал никто. В этом отношении соперничать с ним мог только Иосиф Прут или Зиновий Паперный.

В. Типот любил играть словами. Его спрашивали про новую нашумевшую премьеру:

– Вы видели «Конец Криворыльска»?

– Что вы! – отвечал он. – Я еще даже начала не видел!

Однажды к Типоту приехала сестра из Ленинграда, ученая-литературовед. Типот устраивает ее ночевать у себя. Нади (жены) нет дома. Виктор Яковлевич неумело постилает постель, достает из комода наволочки и т. д. Лидия Яковлевна, человек скромный и застенчивый, говорит ему:

– Слушай, Виктор, ты брось возиться! Мне все равно, как спать. Я могу ночевать хоть на гвоздях.

Типот останавливается посреди комнаты с одеялом и подушкой в руках и говорит:

– Ну, милая моя, это ты брось! Где я тебе ночью гвоздей достану?!

В ресторане ЦДЛ В. Типот спрашивает официанта:

– Ну, что можно съесть повкуснее?

Официант предлагает:

– Есть судак в тесте, – раньше назывался судак-орли, но в борьбе с преклонением перед Западом все иностранные названия заменили русскими.

Типот задумчиво:

– Судак в тесте! Странно… У моего друга, я знаю, есть тесть в Судаке… Нет, не пойдет в тесте.

Дети

Кто-то сказал, что нужно жить долго: тогда до всего доживешь. Вот таким образом и я дожила до Международного года ребенка. Какая это радость для меня! Я выяснила, что не зря я всю свою творческую жизнь отдавала этой теме. Значит, это действительно было нужно!

Теперь хочу я немного рассказать об этих маленьких людях, о малышах, которые занимают в нашей жизни, надо сознаться, большое место. И в моем творчестве тоже.

Как это произошло? Почему я, характерная актриса, сыгравшая в театре и кино множество «взрослых» сатирических ролей, вдруг навсегда связала свою актерскую судьбу с образом ребенка?

Сначала меня просто привлекла забавная манера детской речи, ошибки, перевирание слов: «Там, в зоопарке, один был белый, а другой был *бурный* медведь»; «Мама, дай мне бутерброд *с величиной*»; «А у нас был *доткор*!»; «Вот идет *кондуткор*».

В дальнейшем пристальные наблюдения, постоянное общение с детьми помогли мне узнать их ближе и создать образ ребенка, раскрывая перед взрослой аудиторией его душу, его радости, обиды, недоумения, сложность ежедневного познавания мира. А затем понадобилась определенная степень мастерства, чутье актера, чтобы раскрыть глубину этого образа. Все равно, семнадцать тебе лет или пятьдесят, это одинаково далеко от четырехлетнего человека. А рассказывать маленькие новеллы от лица ребенка нужно было так, чтобы зал тебе поверил. Пустое подражательное кривлянье и сюсюканье недопустимо, оно просто оскорбляет и взрослых, и ребенка.

Затем стал для меня трудной задачей выбор темы. Мне сначала казалось, что ребенок может говорить только о веселых пустяках. Но постепенно я убеждалась, что тема не исчерпывается смешными и забавными фразами, а включает в себя и сложные психологические, порой необычайно глубокие движения детской души. Это позволяло коснуться самых недетских тем. Так, в рассказе С. Михалкова «Я и Павлик» идет речь о молодой семье, почти разрушенной. Однако потом жизнь заставляет родителей понять собственные ошибки во взаимоотношениях. Судьба детей становится снова светлой, такой, какой должна быть. В другом рассказе, «Как это было» Евгения Пермяка, ребенок весело рассказывает одно, а взрослые слышат за этим совсем другое – горькую историю о покинутой матери, о человеческом горе и радости. То внимание и интерес, которые вызывали у зрителей рассказы о детях, связали меня с этой темой навсегда.

Мы так много говорим о детях, об их воспитании, об этике, эстетике, но подчас не помним, что вот – маленький человек, а вот – огромный окружающий его мир. Каждый день – новые понятия, впечатления, слова, ощущения. Как разобраться в этом во всем? Кто поможет ребенку?

Первоклассник с восторгом рассказывает маме:

– Мама, меня сегодня одного вызывали к доске!

Мама удивлена:

– Зачем же? Учительница тебя спрашивала? Мальчик, захлебываясь от гордости, объясняет:

– Она меня попросила: «Воробьев, встань сюда, к доске, повернись к классу лицом, посмотри на всех ребят и запомни: вот как надо сидеть за партой, а не крутиться, как волчок. У меня даже голова от тебя закружилась».

Вот ребенок уже научился задавать вопросы, и они сыплются на взрослых почти без перерыва. С. Маршак как-то сказал, что каждый человек в раннем детстве проходит один из своих самых трудных университетов. Маленький мальчик спрашивает:

– Мама, разве луна – это человек?

– Почему ты такие глупости говоришь, – возмущается мама. – Ведь ты уже большой, тебе четыре года!

– А почему тетя Валя сказала вечером, когда мы гуляли: «Вон видишь, луна вышла и на нас смотрит, а ты балуешься?»

Так помогите ребенку хоть немножко! Отвечайте ему, товарищи! Ему не нужны ни литературные обобщения, ни научные изыскания. Надо говорить коротко и просто: так, мол, и так. Но никогда не отвечать: «Не знаю». Ведь дети верят, что взрослые знают всё. Не разочаровывайте их. А взрослые для него – и восьмилетний брат, и восьмидесятилетний дедушка.

Трехлетний Толик говорит своей маме про шестилетнюю Марину:

– Мамочка, эта маленькая тетя меня подняла, когда я упал!

Каждый раз удивляюсь, откуда малыши знают, чем им надо интересоваться. Девочка проходит мимо машин хладнокровно. Мальчишка, даже малюсенький, останавливается рядом с колесом грузовика, замирая от счастья.

Мальчики при этом ужасно боятся походить на девчонок. Когда Мите О. в первый раз сделали прическу с боковым пробором, он страшно возмутился:

– Я не буду так ходить! Так только женщины причесываются.

– Тогда скажи, какая же прическа мужская, по-твоему?

– Не знаю. Ну, хотя бы лысина.

А вот анекдот или маленькая история, рассказанная англичанином.

– Папа, скажи мне, откуда я взялся? – спрашивает сын.

Бедный папа, бледнея и краснея, не находя слов, начинает рассказывать, как они с мамой полюбили друг друга, как поженились. Мальчик внимательно слушает некоторое время, потом нетерпеливо перебивает:

– Нет, папа, я не про вас с мамой спрашиваю. Вот у нас в классе один мальчик из Бресфорда, два других из Манчестера. А я-то откуда?

Взрослому часто трудно уловить ход мысли ребенка. Так и здесь отец начал объяснять мальчику что-то свое, а ребенок, оказывается, просто хотел узнать, откуда он приехал.

Конечно, у каждого взрослого свой метод воспитания ребенка, который ему кажется самым лучшим. А теперь на помощь приходит еще телевизор. Какое количество зрелищ, новой информации, советов получает маленькое создание! На подаренной мне С.Я. Маршаком книжке автограф:

Как зритель, не видевший первого акта,
На свет появляются дети.
И все же они ухитряются как-то
Понять, что творится на свете.

Но ведь все надо переварить, усвоить! Найдется ли у нас, взрослых, время, терпение, чтобы быть хоть иногда рядом, чтобы объяснить непонятное, вовремя определить доступную дозу?

Маленький Саша слышит по радио объявление: в 19 часов 30 минут опера Россини «Севильский цирюльник» – и вечером сообщает отцу:

– Сейчас пойдет опера «Советский целинник». Отец удивлен, он не знает такой оперы, а Саша так уловил и понял в совершенно незнакомом, чужом названии интересные ему, близкие, понятные слова.

А как научить понимать прекрасное? Ведь как сказал Маршак, а он так много внимания уделял детям: «Пусть люди с детства приучаются к тому, что художественные образы не

летят сами, как гоголевские галушки, в рот, а требуют сосредоточенного внимания и активности».

Внимания и активности у ребят хватит, только подавай пищу их уму. Я сказала одному Димке:

– Слушай, что ты смотришь все передачи подряд? Нельзя же так!

Он мне ответил:

– Можно. Бабушка сама говорит, что телевизор на меня очень хорошо влияет. Я бы хотя бы в это время не хожу на голове и ничего дома не ломаю.

Но ничто, никакой телевизор никогда не заменит ребенку живого общения в семье, не научит его простым правилам: «Сиди прямо», «Отвечай, когда тебя спрашивают», «Не перебивай взрослых», «Не кричи так громко в троллейбусе», «Не толкайся».

Четырехлетний сын горестно говорит отцу, с которым встречается только в выходной день (отец уходит, когда сын еще спит, а приходит, когда он уже спит):

– Папа, почему мы с тобой никогда не совпадаем?

Трудно себе представить, как рано проявляется во всем характер маленьких людей, черты будущего человека: мягкая уступчивость или откровенный эгоизм, упрямство или удивительная чуткость, мужество или равнодушие.

Четырехлетний внук сидит со своей бабушкой и рассказывает ей страшные сказки о разбойниках. Потом говорит:

– Мой папа Алеша. А у тебя папа кто?

– У меня папы нет, – отвечает бабушка (еще не старая), – он давно умер.

Когда бабушка собирается уходить, мальчик серьезно говорит ей:

– Ты, бабушка, не печалься. Я, как вырасту, стану твоим папой и защитю тебя от разбойников.

Была у меня знакомая девочка пяти лет. Как-то вечером, встретив ее в саду с куклой в руках, я спросила:

– Что же ты так поздно вынесла свою дочку в сад? Она же простудится!

Девочка посмотрела на меня с превосходством человека, не подверженного нелепым фантазиям, и сухо сказала:

– Ну что вы! Как же она может простудиться? Она не живая.

У одной мамы был такой разговор с трехлетним сыном Андрюшей:

– Почему плачет Игорь? Ты его обидел, Андрюша?

– Нет, мамочка. Он сам обиделся. Я его только водой облил. Грязной.

Английский писатель У. рассказал мне, что как-то получил письмо от маленькой школьницы. Она писала: «Дорогой мистер У.! Я хочу стать писателем, как и Вы. Только почему-то у меня ничего не получается. Это потому, что у меня совсем нет никаких мыслей. Я Вас очень прошу, если у Вас будут оставаться лишние мысли, прислать их мне». Мистер У. прочел это письмо жене в присутствии своей маленькой дочери, которая строго спросила:

– Я надеюсь, папа, ты уже послал ей хоть одну мысль?

Вот как удивительно чувствуют и думают дети! Воспитатели, папы и бабушки, только держитесь да приглядывайтесь, как бы чего не пропустить, как бы помочь им удержать хорошее и не укрепить плохое.

Ребенок сидит за столом. Его посадили обедать. Он сидит и слышит, как его мама и бабушка громкими голосами, как всегда, высказывают свое недовольство друг другом или соседями. Мальчик зовет их, повторяя слово, которое, видно, часто слышал из их уст:

– Нахалки, скоро вы меня будете кормить? – думая, что так и надо говорить.

Мы часто беспокоимся, почему дитя так поздно начинает ходить. Но редко задумываемся, почему так долго не пробуждается в нем душевная деликатность, скромность, желание помочь кому-нибудь.

Дома навсегда должна быть исключена фраза «Оставь его, он еще маленький». Эти маленькие создания мгновенно улавливают взаимоотношения взрослых. В семье, где бабушка часто сердится на дедушку из-за общего любимца кота, пятилетняя Ольга наставительно говорит:

– Бабушка, у тебя совершенно неправильная политика в отношении дедушки и Маркиза!

Мне часто говорят:

– Вы, наверное, очень любите детей? Ведь вы их так хорошо знаете!

Это верно, я знаю их хорошо. Может быть, поэтому мне трудно ответить одним словом: «да» или «нет».

Прежде всего, я разговариваю с детьми всегда с уважением, серьезно, не подлизываюсь к ним и в то же время не фамильярничаю: не нажимаю на нос пальцем, как на звонок, и не говорю «Тр-р-р».

– Ты долго ломал эту машину? – спрашиваю небольшого человека с остатками автомобиля, прижатыми к груди.

– Долго, – говорит он охотно. – Два дня.

Обычно дети хитро лавируют, пользуясь всеми доступными и недоступными способами, чтобы добиться своего. И в большинстве случаев это им удается. Не позволил папа, бегут к бабушке, к маме. Заступники всегда найдутся, и постепенно слово «нельзя» для некоторых детей перестает существовать вовсе. А между тем это первое понятие, которое ребенок должен усвоить. А вместо него появляется «хочу».

Мы часто многословно рассуждаем об уважении к детям. Говоря серьезно, уважение – первая заповедь человеческого общества. Значит, прежде всего надо уважать ребенка и этим воспитывать в нем чувство собственного достоинства. Тогда можно ожидать, что и он будет уважать других.

Вот мы едем в поезде, по делу или в отпуск, на курорт. В вагоне можно встретить и малыша. Если он вас интересует, вы, очевидно, поговорите с ним, расскажете что-нибудь, глядя вместе в окно. Но чаще всего взрослые в ребенке находят для себя дорожное развлечение: иной, проходя мимо ребятишек, нажимает на нос или на живот ребенка, не считаясь с тем, приятно это ему или нет, произнесет «тр», «дзинь». Думая, что начало знакомства уже положено, взрослый задает вопрос: «Куда едешь, мальчик?» Это уже седьмой раз сегодня его об этом спрашивают, но мальчик отвечает покорно:

– К папе.

Пассажир, поглядывая на молодую маму, говорит громко, чтобы она слышала:

– Зачем тебе к папке ехать? Поедем со мной!

– Нет, – испуганно отвечает мальчик, – я к папе хочу.

– Поехали ко мне. У меня мотоцикл дома. Будем кататься на пару.

– Нет, – говорит твердо мальчик. – Я поеду к папе!

Тогда попутчик хватает его поперек живота, почти до потолка подбрасывает и с хохотом объявляет:

– А вот возьму и унесу тебя! А твоя мама одна поедет к папке!

Обычно дело кончается ужасным ревом, и малыш не покажется в коридоре, пока страшный дядя не сойдет со своим страшным чемоданом с поезда.

Но бывают варианты. Дети быстро усваивают эту фамильярную манеру. Они хохочут, требуют несколько раз в день, чтобы их подбрасывали. Заходят в любое купе, жуют конфеты, виснут на «чужих тетях», сидят на коленях или носятся по коридору с криком, воплями, барабанят в закрытые двери. Нельзя ни читать, ни отдохнуть. Их никто не остановит – «Как же можно? Ведь это же дети! Они еще маленькие. Пускай побегают!»

Бывает, что и мамы этим весьма довольны. Они спокойно сидят, болтают, вяжут. Мамы даже не подозревают, что первый урок неуважения к взрослым их детьми усвоен.

Не надо поэтому потом удивляться, если пришедшие с родителями дети начинают бегать между столиками кафе или ресторана, пока их не остановят – не родители, а пожилой официант, сказав:

– Что вы, ребята? Ведь вы же не дома!

Сидящая за столиком мама, может быть, скажет дочке, которая, расшалившись, шлепает ложкой по манной каше:

– Маечка, перестань! Ты же на тетю брызнешь!

Но тетя тут же, приторно улыбаясь, ответит стереотипно:

– Ну что вы! Ничего! Она же маленькая! – а потом долго будет оттирать носовым платком пятнышко на рукаве своей новой кофты и возмущаться: – Ну и мамаша! Маленькую девочку так избаловать!

Я хочу закончить разговор о детях одной небольшой историей. Она рассказывает о простодушии и доброте этих маленьких людей, о доброте, которая покоряет нас, взрослых, потому что в ней мы угадываем, узнаем ту великую доброту, на которой держится мир.

Когда папанинцы вернулись с полюса, творилось нечто невообразимое. Вся Москва была как бы опьянена, ошеломлена их подвигом, их храбростью.

И весь Союз слал им письма, телеграммы, подарки.

Конечно, и Клуб мастеров искусств устроил торжественный, необыкновенный вечер, чтобы обрадовать, удивить папанинцев, чтобы им было весело и чтобы они знали, как их ждали. Образцов придумал чудный номер: белый медведь пел посвященный папанинцам романс о том, как он теперь одинок и тоскует о них.

Бедные герои, которые справились со всеми опасностями и трудностями жизни во льдах, тут прямо обессилели от приемов, балов, поездок, рукопожатий, звонков и объяснений в любви.

Когда я была у Папанина, он рассказывал мне об этом и показывал подарки, которые получил от разных людей. Больше всего мне понравилось одно письмо. Писали ему из глухой деревни, с Урала. Вся семья сидела за столом и думала и горевала, что послать в подарок Папанину. А пятилетняя внучка сказала:

– Бабушка, если нам нечего послать ему в подарок, пошлем ему меня.

Сергей Михалков

Действительно, ничего не записано, а эту встречу помню почему-то совершенно отчетливо. Произошла она на теннисных кортах Водного стадиона «Динамо». Задолго до войны. Я играла партию с каким-то хорошим партнером. Когда мы менялись сторонами, ко мне подошел очень длинный, очень молодой человек и, заикаясь, но без смущения, сказал:

– Мне надо с вами поговорить.

Я рассердилась и ответила:

– Ну, тогда подождите, пока я проиграю.

Я проиграла довольно быстро и, вытирая полотенцем пот со лба, подошла к скамейке и спросила:

– Ну, что вы будете мне говорить?

– Я ничего говорить не буду, – ответил он, сильно заикаясь. – Я хочу, чтобы вы со сцены читали мои стихи.

Он протянул мне тоненькую тетрадку со стихами. Я тогда только недавно стала рассказывать о детях, но уже получала много писем с сочинениями, написанными так плохо, так безвкусно, что было тошно читать. Но я всегда прочитывала все до последней точки, веря в чудеса.

И тут я взяла листочки, отвернулась от него на скамейке и стала читать. И вдруг прочла прекрасные стихи настоящего поэта, современные, детские.

Я повернулась к нему, увидела симпатичное молодое лицо, вылезающие из коротких рукавов старенького пиджака длинные руки и сказала строго:

– Да, стихи хорошие. Я буду их читать. Позвоните мне завтра без пятнадцати минут десять, а то я уйду на репетицию.

Он позвонил. Мы встретились и подружились. Я познакомила его со всеми своими друзьями и недругами. Друзья пытались меня урезонить: «Ну что вы в нем нашли?» (ведь он еще не был Михалковым!). А я стала читать со сцены его стихи, еще нигде не печатавшиеся.

Михалков ходил на концерты, слушал свои стихи, неустанно восторгался ими и отчасти немного – мной. Так продолжалось больше года.

Потом я познакомила его в Колонном зале с Игорем Ильинским, и только я Михалкова и видела: с тех пор он писал для Ильинского. Но это было позже.

А пока по утрам раздавался телефонный звонок, и в трубке длилось молчание.

– Это вы, Сережа? – спрашивала я. – Идите к нам.

Он приходил. Моя мама кормила его. Потом он провожал меня в театр, смотрел очередную репетицию, а друзья шептали:

– Опять твой длинный сидит в зале!

Немного погодя все они стали его друзьями и поклонниками.

Если репетиций не было, мы ездили в пустых трамваях – мой любимый транспорт не в часы пик, – ходили по выставкам или просто помирали со смеху, рассказывая друг другу любые истории.

А вечером, после спектаклей, шли в Жургаз. Михалков съедал шесть штук отбивных. Платила я: ведь я получала зарплату, а он еще нет. Мне казалось, что он всегда был голодный, потому что очень длинный и худой. Тогда он писал о себе:

Я хожу по городу, длинный и худой,
Неуравновешенный, очень молодой.
Ростом удивленные, среди бела дня
Мальчики и девочки смотрят на меня.

На трамвайных поручнях граждане висят.
«Мясо, рыба, овощи» – вывески гласят.
Я вхожу в кондитерскую, выбиваю чек,
Мне дает пирожное белый человек.
Я беру пирожное и смотрю на крем,
На глазах у публики с аппетитом ем.
Ем и с грустью думаю: «Через тридцать лет
Покупать пирожные буду или нет?»
Повезут по городу очень длинный гроб,
Люди роста среднего скажут: «Он усоп!
Он в среде покойников вынужден лежать,
Он лишен возможности воздухом дышать,
Пользоваться транспортом, надевать пальто,
Книжки перечитывать автора Барто».

Михалков завоевал сердца детей и взрослых сразу, с первой книжки. Он писал в своей, новой, манере, необычайно легко и быстро. Казалось, что без всякого труда строчки сами взлетают на страницы. И так книга за книгой, успех за успехом.

Потом проявилась совсем новая сторона таланта С. Михалкова. Его басни мгновенно становились известными всем еще до того, как попадали в газеты и журналы. Они запоминались сразу, их повторяли и пересказывали друг другу и поэты, и читатели.

Потом мы смотрели его пьесы, не только детские, но и взрослые. Иногда они вызывали дискуссии, безудержную хвалу или критику. Много пьес Михалкова шло в театрах, а мне почему-то помнится его исчезнувшая сатирическая комедия «Раки», которая, по-моему, тогда была разгромлена критикой беспощадно. Давно это было, и с тех пор я о ней ничего не слыхала. Я присутствовала на читке пьесы. Первый акт был написан удивительно. Так талантливо, так блестяще, что каждое отточенное слово, каждая реплика вызывали мгновенную реакцию – гомерический смех. Второй акт был неожиданно слабее, а третьего, строго говоря, не было совсем, хотя, конечно, он был и читался. Но первый акт забыть невозможно. Я не представляю себе, как театры могли не заняться этой комедией, не заставить автора довести работу над пьесой до конца. Может быть, когда-нибудь это и случится.

Стихи, стихи для детей, басни С. Михалков писал с необычайной быстротой и точностью, попадая в цель безошибочно. Он посылал их в редакцию с курьером, как только ставил точку на машинке. По-моему, у него иногда и черновиков не было. А ведь писал великолепные вещи.

Николай Островский

Впервые я узнала о нем так. Открыла газету «Правда» и увидела статью и заголовок крупным шрифтом: «Мужество». Это была статья Михаила Кольцова, впервые рассказавшего людям о существовании на земле Николая Островского. Статья была очень страшной, без всякой жалости к читателю. Узнав о мужестве и безмерных страданиях этого человека, о трагических подробностях его быта, было стыдно продолжать сейчас же обычную жизнь: сесть завтракать или звонить по телефону. Душа была ранена написанными словами, точными и беспощадными.

Затем стали появляться новые сообщения: читатели требовали более подробного рассказа о жизни Островского. А после появления книги «Как закалялась сталь» имя Николая Островского встало в один ряд с именами известных советских писателей. И не думала я, что мне придется сидеть около его кровати в квартире на улице Горького.

В один из январских дней тысяча девятьсот тридцать шестого года меня вместе с другими актерами пригласили к Николаю Алексеевичу.

Нас ввели в его комнату. Мы были так глубоко взволнованы, что не могли этого скрыть. Однако спокойный, ровный голос писателя скоро заставил нас забыть, что мы находимся у постели тяжелобольного.

Он попросил сыграть для него что-нибудь. Играл скрипач, пел певец. Затем читала я. Это были стихи тогда еще совсем молодого Сергея Михалкова. Видимо, Островский слышал меня впервые и, когда я кончила читать, спросил:

– В каком классе учится эта девочка?

Конечно, недоразумение было тут же выяснено, Николаю Алексеевичу сказали, что это актриса. Островский живо заинтересовался моей творческой биографией, планами, расспрашивал о С. Михалкове, о его стихах. Николаю Алексеевичу было очень интересно, как реагирует детская аудитория на мои выступления. Я сказала, что самые маленькие слушатели совершенно равнодушны к моему чтению: они сами говорят так же, как я. Но старшие школьники принимают меня очень горячо, и я люблю выступать перед ними.

На столе стояла пишущая машинка с заложенным в нее наполовину исписанным листом бумаги и рядом – стопка уже напечатанного. Я невольно несколько раз взглядывала на них. Это заметила Раиса Порфирьевна и сказала Николаю Алексеевичу. Он заговорил о своем новом романе «Рожденные бурей». Я сказала ему, как читатели ждут эту книгу, и расспросила об Андрее Птахе (отдельные главы романа уже были опубликованы в журналах, поэтому многие герои будущего произведения были нам знакомы). Николай Алексеевич попросил Раису Порфирьевну прочесть вслух новый отрывок. Мы слушали, как бы погружаясь в прошлое, в юность его, ожившую на этих страницах.

Так и сохранились в моей памяти эти короткие часы, проведенные в комнате, где жил и работал человек необыкновенной судьбы и необычайного мужества.

Давай подробности!

Как правило, считается, что о самом себе человек говорить не может, особенно что-то хорошее. А я могу совершенно спокойно говорить о себе плохое, хорошее – как есть. Например: я человек добрый, значит, хороший; не очень, но все-таки хороший. Я себя знаю, потому и говорю: не может быть, чтобы я так ошибалась в людях. Ну, добрая… Но что это за доброта? Я знаю настоящих добрых людей. У них доброта – чувство безотчетное. А у меня происходит от ума. Мне проще сделать человеку добро, чем зло. Добро вообще делать легче. Кто-то обращается с просьбой дать денег, которых ему не хватает, например, на железнодорожный билет. Я знаю, что человек врет, что это просто способ добывать деньги. Но я каждый раз думаю: вдруг на этот раз все правда, все именно так, а я не дам. А потом ночью буду не спать, мучиться. И я сразу, если у меня бывали деньги, отдавала их, зная, как это глупо и как они мне самой нужны.

На помощь товарищам бросаюсь всегда сразу, когда знаю, что могу помочь – додумать, доделать. В эстрадной работе у актеров бывает такой период, когда совершенно необходима чья-то помощь, чтобы подняться еще хоть на маленькую ступеньку. Самому с этим не справиться. Нужно или от кого-то получить пинок в зад, чтобы встрепенуться и работать дальше, или ухватиться хотя бы за чей-то палец, чтобы преодолеть непреодолимое. И я помогала разным людям, даже певцам и танцорам, если они просили посмотреть, закончить, додумать номер.

Я никогда не обжуливаю зрителей: каждый кусок хлеба зарабатываю честно. Я бы охотно зарабатывала нечестно, да не знаю где. В кино готова работать всю смену, и ночную, никогда не жалуюсь, раз надо. Но если знаешь, что так работать приходится по чьей-то нерадивости, тогда это очень печально.

Моя работа – моя радость. Всегда благодарна зрителям, которые нас терпят или любят (есть актеры, которые ругают зрителей, выходят на сцену со злыми лицами, как будто заранее ждут от зала обиды).

Я не собираюсь исповедоваться, и я не Жан-Жак Руссо, чтобы говорить о себе всю правду, рассказывать, как я нерешительна, труслива, не люблю сильных ощущений, бурных морей, не умею и не люблю собирать грибы, не люблю пожаров и катастроф. Я могла бы даже что-то придумать о себе интересное, но на это не хватит таланта.

Тут, как бы в скобках, могу сказать, что мне вообще не нравятся люди, которые всегда и всем говорят в глаза «правду-матку» и страшно гордятся своей прямотой, заявляя: «Да, прямо говорю: я его ненавижу, потому что завидую ему». Или своей подруге, зная, сколько труда стоило ей сделать себе новое платье: «Знаешь, я тебе скажу в лицо, по правде: по-моему, оно тебе очень не идет, просто безобразит фигуру. И цвет ужасный». Представьте себе на минуту, что было бы на земле, если бы люди вдруг решили говорить друг другу всю правду в лицо!

Мне иногда кажется, что у меня и биографии никакой нет. Вот я с огромным интересом часто слушаю по телевидению рассказы актеров о себе. У них каждый год – веха в творческой биографии. Слушаешь и словно видишь, как складывался характер, талант актера. У меня же не только биографии нет, но даже фотографий для книги не хватает. Почти у каждого актера есть фотографии во всех ролях, которые он сыграл. А я? Столько ролей сыграла, а фотографий нет и половины, и где они – не знаю.

И какая я – тоже точно не знаю.

На Невском проспекте подошел ко мне однажды поэт Н. Олейников. Здороваясь, он сказал, задумчиво глядя на меня:

– В вашей наружности есть то, что мы называем внешностью.

По правде говоря, тогда я тоже воображала, что у меня есть внешность. Во всяком случае, выходя на сцену, я всегда точно ощущала себя высокой, красивой блондинкой.

Вера Инбер в одном из своих рассказов, написанном ею в 30-е годы на тему случая из моей жизни, сделала героиню молодой актрисой, внешне схожей со мной, и в двух словах дала описание: «Она была похожа на мальчика, который похож на девочку». Тогда же появилась поэма об актерах эстрады (кажется, В. Титова), где упоминалось много имен, среди них и мое. Сноска внизу гласила: «Р. Зеленая – артистка с малыми формами».

Но после всего сказанного я должна добавить, что я всегда недовольна собой (кроме некоторых актерских работ) и, если встречаю людей, в чем-то похожих на меня, они мне глубоко несимпатичны.

Актеры

Товарищи мои милые, сколько же нас было, плохих и хороших, бездарных и способных! Куда же нас только не носило, и не только в военное, а и в мирное время! Куда нас только не направляли, не посылали – ведь никто и не вспомнит. А, например, было такое слово – прорыв. Отстающие предприятия в силу ряда причин из года в год не выполняют план – и появляется грозное слово ***прорыв***. Тревожные статьи в газетах, бьют в набат, шлют сигналы, и едут журналисты, писатели. И почему-то артисты. Этих отстающих, оказывается, надо было не только критиковать и порицать, но требовалось поднимать их настроение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.